

СЕВЕРНЫЙ СФИНКС  
ЛАРА ВЕЙН

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ

Сияние

18+

Сфинкс Северный  
**БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ : Слияние**

«Автор»

2026

**Северный С.**

**БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ : Слияние / С. Северный — «Автор», 2026**

Год после Дня лиц. Люди живут бок о бок с теми, кто пришёл с другой стороны: мы учимся у них тишине, они у нас — страху и злости. Под Землёй расходится шов между мирами, буровые гонят его к разрыву, и до точки невозврата остаются считанные дни. Можно ли войти в утопию, сохранив хоть каплю своей человечности, — или наш мир должен уступить место идеальному? Финал трилогии «Бетельгейзе».

© Северный С., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая. Лица                | 5  |
| Глава 1. Утро                     | 5  |
| Глава 2. Порог                    | 15 |
| Глава 3. Регистрация              | 22 |
| Глава 4. Ноксвилл                 | 28 |
| Глава 5. Пекин                    | 35 |
| Глава 6. Стекло                   | 41 |
| Глава 7. Арктида                  | 47 |
| Глава 8. Немо                     | 53 |
| Глава 9. Пятеро                   | 60 |
| Глава 10. Мост                    | 66 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 69 |

# Лара Вейн, Сфинкс Северный БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ : Слияние

## Часть первая. Лица

### Глава 1. Утро

Илья проснулся в пять сорок одну.

Как всегда. С февраля прошлого года — где бы ни был, когда бы ни лёг. Тело помнило. Он давно перестал заводить будильник.

Потолок светился мягко, по-утреннему. За окном пели птицы — серые, пушистые, длиннохвостые, те, которых в Москве не было ещё два года назад и которых теперь знал каждый ребёнок в Богородском. Где-то далеко, за лесом, гудело Ярославское шоссе. Первое июля. Воскресенье.

Он лежал и слушал.

Птицы. Шоссе. И — за дверью, в коридоре, — шаги.

Лёгкие. Неторопливые. Босые — он слышал, как ступня отлипает от тёплого пола. Кто-то прошёл мимо его двери, остановился у соседней, постоял. Дверь открылась — без скрипа, двери здесь никогда не скрипели. Голос. Тихий. Не слово — звук, как будто кто-то выдохнул с улыбкой. Второй голос ответил. Детский.

Дверь закрылась.

Илья лежал и думал: год. Почти год он жил в этом доме. С двадцать первого марта прошлого года, с той ночи, когда прилетел из Минвод за Верой. Год он слышал эти шаги. Шорохи, вздохи, скрип песочного дивана в нише, стук чашки о стол в столовой, когда в столовой никого не было. Год он говорил себе: это они. Мы просто не видим.

Девять дней назад он увидел.

И всё равно — каждое утро — лежал и слушал. Как будто проверял.

\* \* \*

В коридоре было светло. Стены светились тем же тёплым янтарным светом, что и всегда, — ровно, без ламп, без источника. Свет шёл из самого материала, как из перламутра.

У соседней двери, четверста седьмой, на полу сидел мальчик.

Лет пяти. Смуглый, тёмноволосый, в светлой рубашке до колен. Босой. Он сидел, прильнув спиной к стене, и рассматривал что-то в ладонях. Жука. Обычного — бронзовку, зелёную, с металлическим отливом. Таких в Лосином острове было полно.

Мальчик поднял голову. Посмотрел на Илью.

Илья остановился.

Девять дней — а он всё ещё останавливался. Каждый раз. Каждое лицо. Как будто каждое надо было разглядеть, запомнить, проверить, что оно не исчезнет, если моргнуть.

Лицо не исчезало.

Узкое. С высокими скулами. С тёмными глазами — огромными, как у всех их детей, — и с тем выражением, которое Илья никак не мог описать словами и которое Вера описала однажды так: «Пап, они смотрят, как будто ты уже рассказал им всё, что хотел. И им интересно, что ты скажешь ещё».

Мальчик протянул ладони. Показал жука.

— Бронзовка, — сказал Илья. Голос был хриплым со сна. — Цетония. Она... — Он запнулся. Что он мог сказать? Что она ест цветы? Что её личинки живут в гнилой древесине? Что их латинское название он помнит со школьного кружка юннатов?

Мальчик ждал.

Илья присел на корточки. Колени хрустнули.

— Красивая, — сказал он.

Мальчик не понял ни слова. Илья это знал. Но мальчик кивнул — серьёзно, без улыбки, — как будто понял главное. Потом раскрыл ладони. Бронзовка постояла на его пальце, раздвинула надкрылья, загудела — и улетела вдоль коридора, к окну, к свету.

Мальчик проводил её взглядом. Потом встал и пошёл следом. Не оглядываясь.

Илья смотрел ему вслед.

Год он здесь жил. Год этот мальчик — или другой, такой же — ходил мимо его двери. Сидел у стены. Ловил жуков.

Год.

\* \* \*

Столовая была на первом этаже, в восточном крыле.

Илья помнил её пустой. Длинный зал с плавными стенами, без углов. Столы — светлые, гладкие, как отполированное течением дерево. Скамьи вдоль столов. Подносы. На подносах — хлеб, тёплый, с хрустящей коркой. Мёд в глиняных чашках. Фрукты — те, что он видел впервые в жизни: красноватые, с бархатной кожицей, пахнущие одновременно грушей и корицей. Каша из незнакомого зерна. Вода в кувшинах.

Всё — тёплое. Всегда. В любое время дня и ночи.

И — ни одного человека.

Первые месяцы от этого кружилась голова. Еда, которую кто-то приготовил — и ушёл. Тарелки, которые кто-то убрал — и ушёл. Скамья, на которой кто-то только что сидел — она ещё была тёплой, — и ушёл. Первые ночевавшие называли столовую «Летучим голландцем». Потом перестали. Привыкли.

Теперь — Илья остановился в дверях.

Столовая была полна.

Их — человек сорок. Наших — человек двадцать: те, кто ночевал во дворе, на песочных диванах, и пришёл позавтракать. Сидели вперемешку. Не за разными столами — за одними. Не потому, что так решили, — потому что так получилось. Девять дней назад никто не знал, как надо. И никто не стал решать.

У дальней стены, там, где в стене были ниши с тёплыми камнями — Илья всегда думал, что это какие-то печи, — стояли трое их. Две женщины и старик. Женщины месили тесто — в широкой каменной чаше, в четыре руки, неторопливо, переговариваясь. Старик снимал с камней готовые хлебы. Деревянной лопаткой. Клад на поднос.

Вот и всё.

Илья смотрел на это и чувствовал, как в нём что-то сдвигается. Медленно. Как сдвигается лёд весной.

Год он думал об этом хлебе. Год — все думали. Учёные брали его на анализ. Грач в своей лаборатории разбирал его на молекулы. Ветрова строила таблицы: кто ел, кто не ел, через сколько дней начинал видеть. Комиссия запрещала его есть, потом разрешала, потом снова запрещала. Газеты писали о «наркотике», о «приманке», о «биологическом оружии». «Право на одиночество» называло его «причастием растворения». Священники спорили, можно ли есть хлеб, испечённый невидимыми руками, — и не грех ли это.

А это были две женщины и старик. Утром. В воскресенье. Пекли хлеб.

Потому что хотелось хлеба.

Илья подошёл к столу. Взял тарелку. Старик у печи увидел его — кивнул. Снял с камня хлеб. Положил на поднос рядом с Ильёй. Ничего не сказал. Вернулся к печи.

Илья понял: никто не дежурил. Никто не был «поваром». Ему Вера объясняла — ещё в апреле, когда сама только начинала понимать: у них нет «работы» в нашем смысле. Есть то, что нужно. Нужен хлеб — кто-то печёт. Сегодня — эти трое. Завтра — другие. Потому что тесто — тёплое и приятно мнётся в руках. Потому что запах. Потому что с утра хочется что-то делать руками, а хлеб — самое простое, что можно сделать руками.

А зерно росло само. Вера говорила — у них поля, к северу от их Москвы, там, где у нас Мытищи, Королёв, Пушкино. Поля, которые никто не пашет. Зерно, которое растёт само, — как дикая пшеница росла когда-то на холмах Галилеи, только гуще, только щедрее. Земля у них была такой. Не потому, что они её такой сделали. Потому что её никто никогда не делал другой.

Он отломил кусок хлеба. Корка хрустнула.

Год назад, девятого апреля, в девять вечера, он ел этот хлеб первый раз — на краю сухого бассейна, в шапочке с электродами, под взглядом Ветровой, Ольги и половины двора. Как опыт. Как прибор, который умеет записывать.

Теперь он просто ел хлеб.

\* \* \*

Вера сидела в углу. С Аей.

Ая сидела у неё на коленях — хотя была уже большая для этого, семь лет, — и ела фрукт. Красный, бархатный. Сок тёк по подбородку. Вера вытирала ей подбородок салфеткой — машинально, не глядя, — и разговаривала с женщиной напротив.

С матерью Аи.

Илья остановился.

Мать Аи он видел в ночь на двадцать второе — впервые. Высокую, тёмноволосую, с длинной шеей и спокойным лицом. Ту самую женщину, которую Вера в марте прошлого года увидела у своего окна. Которая стояла у фонтана в Лосином острове, держа за руку маленькую девочку. Которая год приходила к Вере — смутно, как дым, как отражение в стекле, — и смотрела. Без складки между бровей.

Теперь она сидела за столом. Напротив Веры. И говорила.

Не вслух. Илья видел: губы не двигались. Она просто смотрела на Веру. А Вера — слушала. Наклонив голову, чуть приоткрыв рот, с тем выражением, которое было у неё в детстве, когда она решала трудную задачу по физике и вот-вот должна была понять.

Потом Вера ответила. Вслух — по-русски, тихо. И одновременно — Илья не знал, как это описать, — как будто ещё как-то. Глазами. Плечами. Всем телом.

Мать Аи улыбнулась.

Илья подошёл. Сел рядом.

— Доброе утро, — сказала Вера, не оборачиваясь.

— Доброе.

— Ты в пять сорок одну проснулся.

— Как ты знаешь?

— Она сказала. — Вера кивнула на Аю. — Она говорит — ты всегда просыпаешься, когда «звонит». Она говорит — ты, наверное, тоже немножко слышишь. Только не знаешь, что слышишь.

Ая посмотрела на Илью. Поверх красного фрукта. Глаза — огромные, тёмные. Семь лет — и сто двадцать.

Илья не знал, что на это ответить.

Мать Аи посмотрела на него тоже. Потом — снова на Веру.

Вера слушала.

Потом сказала — медленно, подбирая слова:

— Она спрашивает, почему у ворот люди. Те, в форме. Их не было — после двадцать второго. Подполковник увёл. А сегодня утром — снова стоят. Двое. Новые. — Вера помолчала. — Она спрашивает: это опять те, кто «не видит»? Им надо показать?

Илья посмотрел в окно. Столовая выходила на восток — на лес, не на ворота. Ворота отсюда видно не было.

— Не знаю, — сказал он. — Я пойду посмотрю.

— Пап. — Вера наконец повернулась к нему. Лицо — усталое. Восемнадцать лет. Синяки под глазами — девятый день, и девятую ночь она почти не спала: переводила. Всем. Всё. Сразу. — Пап, она не про форму спрашивает. Она про другое.

— Про что?

Вера посмотрела на мать Аи. Та молчала.

— Она спрашивает, — сказала Вера тихо, — они пришли смотреть? Или пришли — как в апреле?

\* \* \*

У ворот действительно стояли двое.

Не солдаты. Полиция. Молодые, лет по двадцать пять. В новой форме — летней, светло-синей, с короткими рукавами. С планшетами. У одного — рация на плече. У второго — на поясе — ничего, кроме дубинки и наручников.

За их спинами, на асфальтовой площадке, где год стояли машины кордона, стоял автобус. Белый, с синей полосой. Окна — тонированные. Дверь — закрыта.

Илья подошёл к решётке.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе. — Тот, что с рацией, посмотрел на него. Потом в планшет. Потом снова на него. — Ланской? Илья Сергеевич?

— Да.

— Вас-то нам и надо. — Полицейский улыбнулся. Неловко. Как улыбаются люди, которым не нравится то, что они делают, но которые решили делать это вежливо. — Вам звонить должны были. Насчёт пункта.

— Какого пункта?

— Учёта. — Полицейский поправил планшет. — Распоряжение вышло. В четверг. Режим особого контроля. Вы, наверное, слышали.

Илья слышал.

Двадцать восьмого июня — через неделю после Тишины — пятеро объявили «режим особого контроля». Одновременно. Как будто договорились. Илья подозревал, что договорились.

Пятеро — те, что бурили. Те, у кого были флоты у Немо и платформы на Арктиде, буровые на Лемурии и на Кольском. Те, у кого было право вето в Совете Безопасности. Те, кто год назад делил новые материки, — и делил до сих пор, даже после двадцать первого, даже после ста сорока семи мест, где стреляли, и одиннадцати тысяч двухсот домов, снесённых за три дня.

Режим. Тексты распоряжений были разными — на разных языках, с разными формулировками, с разными номерами статей. Суть — одна. Илья читал все пять. Положил рядом. Сравнил. Как сравнивал спектры.

Совпадение линий было почти полным.

«Лица, проявившиеся в результате события 21 июня, до определения их правового статуса подлежат учёту». «Учёт осуществляется по месту обнаружения». «Перемещение лиц, прошедших учёт, за пределы объектов не установленного происхождения допускается по согласованию». «Лица, не прошедшие учёт в установленный срок, рассматриваются как...»

Дальше — по-разному. В одном тексте — «как находящиеся на территории незаконно». В другом — «как представляющие потенциальную угрозу общественной безопасности». В третьем — проще всего: «как не имеющие статуса».

Не имеющие статуса.

Илья перечитал эту строчку несколько раз — ещё тогда, в четверг. И подумал: за год мы придумали им много имён. Тени. Призраки. Объекты. Проявившиеся. Те. Их.

А теперь — «не имеющие статуса».

— Я слышал, — сказал он полицейскому.

— Ну вот. — Тот кивнул. — Пункт откроют завтра. Здесь. Прямо у ворот. Автобус — это пока для персонала. Завтра привезут палатку, столы, оборудование. Будут фотографировать, снимать отпечатки, присваивать номера. — Он помолчал. — Нам сказали, вы тут... ну... вроде старшего. И что дочь ваша — переводчик. Единственный.

— Не единственный. Есть ещё дети. Человек двадцать в одной Москве.

— Детей нам нельзя, — сказал полицейский. — Несовершеннолетних. По закону. — Он посмотрел в планшет. — Дочь вашу — можно. Ей восемнадцать.

Илья молчал.

— Вам позвонят, — сказал полицейский. — Олег Николаевич, кажется. Он объяснит.

Он помолчал ещё. Потом — Илья это видел — посмотрел мимо него. Во двор. Сквозь решётку.

Там, у бассейна, на краю, сидели дети. Их. Человек десять. Болтали ногами в воде. Бассейн — когда-то сухой, с песком на дне, — давно был полон. Вода прозрачная, тёплая, с лёгким запахом минералов. Фонтаны в центре били.

Дети болтали ногами. Брызгались. Смеялись — Илья слышал этот смех, высокий, звонкий, совершенно обычный детский смех.

Полицейский смотрел на них.

— У меня дочка, — сказал он вдруг. Не Илье — себе. — Четыре года. — Пауза. — Тоже вот так ногами болтает. В ванной.

Он отвернулся. Пошёл к автобусу.

Второй — тот, что с наручниками, — остался у ворот. Он во двор не смотрел. Смотрел в сторону. На лес. На дорогу. Куда угодно.

Илья понял: этот — не смотрит нарочно.

Так проще.

\* \* \*

Олег Николаевич позвонил в десять.

— Илья Сергеевич. — Голос был усталым, как все последние месяцы. — Вам уже сказали?

— Сказали.

— Я хотел первым. Не успел. — Пауза. — Простите.

Олег Николаевич. Илья знал его почти два года — с декабря позапрошлого, с первого разговора в кабинете, где его, Илью, «просили не делать заявлений». Человек, который всегда приносил плохие новости — и каждый раз извинялся. Человек, который в марте помогал Илье лететь к дочери. Который в апреле выбил для Лосиногостинского острова генератор. Который в мае, после пожаров и газовых баллонов, сидел у чаши всю ночь — молча, в пиджаке, — и утром уехал на работу, не сказав ни слова.

Илья так и не понял, на чьей он стороне. Может быть, Олег Николаевич и сам не понимал.

— Это не вы придумали, — сказал Илья.

— Не я. — Олег Николаевич помолчал. — Я пытался... Неважно. Сейчас важно другое. Илья Сергеевич, пункт будет. Это решено. Сто сорок пунктов по Москве, у каждого объекта. Срок — две недели. Кто не пройдёт учёт за две недели — тех... — Он запнулся.

— «Не имеющие статуса».

— Да. — Тихо. — Илья Сергеевич, я вас прошу. Если пункт будет — пусть он будет нормальным. Без... — Он подбирал слово. — Без того, что бывает. Вы знаете, что бывает, когда люди, которые не понимают, что происходит, встречаются людей с планшетами и наручками. Вы видели в апреле.

— Видел.

— Пусть Вера будет там. Она — единственная, кто может им объяснить. Что это не... — Опять пауза. — Что это просто бумага. Номер. Фотография. Что их никуда не увезут.

— А их не увезут?

Олег Николаевич молчал долго.

— Пока — нет, — сказал он наконец. — В распоряжении этого нет.

— А в следующем?

— Я не знаю, Илья Сергеевич. Честно. Не знаю. — Пауза. — Я знаю, что если пункт пройдёт спокойно — будет меньше поводов для следующего. А если не пройдёт — поводы найдутся. Их всегда находят.

Илья смотрел в окно. Во двор. На детей у бассейна.

— Я поговорю с Верой, — сказал он.

— Спасибо. — Олег Николаевич выдохнул. — И ещё. Илья Сергеевич... Регистрировать будут — всех. Их. По месту обнаружения. Это значит — в Лосином острове будут регистрировать только тех, кто живёт в Лосином острове. А те, кто пришёл из соседних домов, — им надо вернуться к себе. До завтра.

Илья подумал о Ринне. Который пришёл двадцать второго из соседнего дома. Из того, где сидел за стеклом. Который восемь дней сидел рядом с сестрой — молча. Который не ушёл бы, даже если бы его попросили.

— А если не вернуться?

— Тогда их зарегистрируют здесь. Но с пометкой. «Перемещение без согласования». — Олег Николаевич помолчал. — Это плохая пометка, Илья Сергеевич.

— Они не знают, что такое «без согласования». Они не знают, что такое «согласование». Они не знают, что такое «пометка».

— Я знаю, — сказал Олег Николаевич. — Я знаю.

\* \* \*

Пётр Андреевич сидел в лаборатории с круглым окном.

Там, где сидел всегда. С тех пор как Горелова не стало. За столом Горелова, у его полка — тех самых, похожих на корни, плавно вырастающих из стены. С Ньютоном на коленях. С ноутбуком. С картой на экране.

Сто восемьдесят тысяч точек. Нет — уже больше. Илья посмотрел на счётчик в углу экрана: сто девяносто две тысячи четыреста. За девять дней — двенадцать тысяч новых. Люди ставили коробочки. Сами. Без всякой просьбы. Покупали платы за копейки, паяли по инструкции, которую Пётр Андреевич выложил ещё в январе, подключали к роутерам — и на карте загоралась новая точка. В Перми. В Мадриде. В Найроби. В маленьком городе в Айове, где белого дома не было на сто километров вокруг.

Люди хотели слышать.

— Илья Сергеевич. — Пётр Андреевич не обернулся. — Садитесь. Смотрите.

Илья сел.

На экране — кривая. Илья знал её наизусть. Гул. Колокол. Период — три часа сорок одна минута семнадцать секунд. С ноября позапрошлого года — с той ночи, когда в спектре Бетельгейзе впервые дрогнула линия, — ровный, чистый, одна линия. С ноября прошлого — после первой трещины на Немо — две. С февраля — три. Три линии, которые расходились. Медленно. Неуклонно. Как расходятся трещины в стекле.

И — двадцать первое июня. Сорок одна минута.

Илья видел этот участок кривой сто раз. И каждый раз — смотрел снова.

Три линии — сошлись. Почти в одну. На сорок одну минуту. Когда два миллиарда человек — нет, больше, Пётр Андреевич потом пересчитал: около трёх, — увидели. Вместе. Одновременно.

Потом — в девятнадцать двадцать две — снова разошлись.

— Смотрите дальше, — сказал Пётр Андреевич.

Илья посмотрел.

После двадцать первого — линии расходились. Но медленнее. Пётр Андреевич нарисовал поверх тонкие пунктиры: продолжение тенденции до двадцать первого. Линии шли ниже пунктиров. Ближе друг к другу.

— Три дня, — сказал Пётр Андреевич. — Три дня после Тишины расхождение было вдвое медленнее, чем до. Китайская стояла трое суток, американская — двое, Кольская — сутки. Французская — сутки. И ещё — люди. Миллионы людей, которые в те дни приходили к домам. Смотрели. — Он погладил Ньютона. — А потом — буры пошли снова. И линии — вот.

Илья видел. С двадцать пятого — снова прежний наклон. Даже круче.

— Двадцать восьмого объявили режим, — сказал Пётр Андреевич. — Посмотрите на двадцать восьмое.

Илья посмотрел.

Маленький излом. Едва заметный. Линии дрогнули — и разошлись чуть быстрее.

— Это не буры, — сказал Пётр Андреевич. — Буры в тот день работали как всегда. Это — другое. — Он помолчал. — Я не знаю, что. Галина Петровна думает — страх. Их страх. Ткань. Вера говорила — когда объявили режим, они не поняли слов, но поняли нас. Как мы на них смотрели в тот день. Она говорит — это было похоже на апрель.

Он замолчал. Ньютон заворчал во сне.

— Илья Сергеевич, — сказал Пётр Андреевич тихо. — Я старый инженер. Я сорок лет строил детекторы. Я знаю, что такое сигнал и что такое шум. Я знаю, что такое тренд. — Пауза. — Галина Петровна приедет сегодня. В два. Она что-то посчитала. Мне не сказала — что. Сказала — хочет, чтобы вы были. Сказала — это надо видеть всем вместе.

— Вы знаете, что она посчитала?

Пётр Андреевич долго молчал.

— Догадываюсь, — сказал он.

\* \* \*

Вера согласилась сразу.

Илья ждал — споров. Слез. Отказа. Ждал, что она скажет: «Пап, ты понимаешь, что ты мне предлагаешь? Фотографировать их? Снимать отпечатки? Присваивать номера?» Ждал, что она скажет про апрель, про Марсель, про газовые баллоны, про то, что в истории уже было: люди с планшетами, списки, номера, — и чем это кончилось.

Она не сказала.

Она сидела на краю бассейна, опустив ноги в тёплую воду, — рядом с детьми, которые брызгались, — и слушала Илью. Потом долго смотрела на воду.

— Я буду, — сказала она. — Конечно, я буду.

— Вера...

— Пап. — Она подняла голову. — Если меня не будет — кто будет? Полицейский с планшетом? Он им скажет: «Встаньте сюда. Смотрите в камеру». Они не поймут. Не потому, что глупые, — потому что у них нет «встаньте сюда». У них никто никому не говорит, куда встать. — Она помолчала. — Они встанут куда попало. Полицейский подумает — не подчиняются. Позовёт второго. Второй возьмётся за наручники. — Пауза. — Ты знаешь, что будет, если кто-нибудь из них почувствует наручники? Через ткань? Все? Одновременно?

Илья знал. Он видел двадцать восьмое на кривой Петра Андреевича.

— Я буду, — повторила Вера. — Я им объясню. Не словами — они не поймут слов. Я им покажу. — Она посмотрела на Аю, которая сидела рядом и болтала ногами. — Ая поможет. Она умеет показывать лучше меня.

— Ае нельзя. Несовершеннолетних нельзя.

— Ае нельзя переводить, — сказала Вера. — По закону. — Она чуть улыбнулась. Устало. — А сидеть рядом со мной ей можно. Закон про «сидеть рядом» ничего не говорит.

Илья смотрел на неё.

Восемнадцать лет. Позапрошлой осенью — шестнадцать, школа, химичка, которая ставила тройки. Дочь, которой он не ответил на сообщение в ту ноябрьскую ночь, когда впервые увидел, как дрогнула линия в спектре. «Пап, а ты приедешь на Новый год?»

Он так и не приехал на тот Новый год.

— Вер, — сказал он. — Ты устала.

— Я знаю.

— Ты девять дней не спишь.

— Сплю. Немножко. — Она пожала плечами. — Пап, это же не навсегда. Скоро будет больше. Тех, кто слышит. Ая говорит — у детей просыпается быстро. Сейчас по Москве нас двадцать. Через месяц будет сто. Через год — тысячи. — Пауза. — Мне просто надо продержаться. Пока их не станет больше.

Через год.

Илья подумал о кривой. О трёх линиях. О Галине Петровне, которая приедет в два и что-то посчитала.

Он ничего не сказал.

\* \* \*

Ринн сидел на галерее третьего этажа. У двери двести двадцать седьмой.

Илья поднялся туда в полдень. Не знал, зачем. Просто — поднялся.

Ринн сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Как сидел девять дней. Рядом — Тёплая-вода. С дочерью на руках. Лиэна не было — Вера говорила, что Лиэн с утра ушёл в соседний дом, тот, откуда пришёл Ринн. «Говорить». С кем — Вера не знала. О чём — тоже.

Ринн был молод. Двадцать лет — так говорила Вера, хотя Илья не знал, как у них считают годы. Высокий. Худой — худее, чем остальные, с впалыми щеками, с острыми скулами. Тёмные волосы — короче, чем у других. Как будто стриг сам. Неровно.

И глаза.

Илья видел много их глаз за девять дней. Тёмные, огромные, спокойные. С тем выражением — «ты уже рассказал всё, что хотел, и нам интересно, что ты скажешь ещё».

У Ринна глаза были другие.

Илья не сразу понял, какие. Смотрел — и не мог подобрать слово. Потом подобрал.

Знакомые.

Это были наши глаза. Глаза человека, который смотрит на тебя — и прикидывает. Что ты сделаешь. Чего от тебя ждать. Глаза человека, у которого между ним и миром — стекло.

Ринн смотрел на Илью.

Илья сел на пол напротив. В двух метрах. Прислонился к перилам галереи.

Они сидели так долго. Минуту. Пять. Тёплая-вода качала дочь — та спала, кудрявая, пухлая, с приоткрытым ртом. Внизу, во дворе, кричали дети у бассейна. Где-то наверху, на крыше, ворковали серые птицы.

Ринн не отводил глаз.

Илья тоже.

Потом Ринн сказал что-то.

Вслух. Илья вздрогнул. Девять дней — и он ни разу не слышал, чтобы кто-то из них говорил вслух со взрослым. С детьми — да. Между собой — иногда, тихо, как выдох. А с нашими — никогда. С нашими — через Веру. Через детей. Через ткань.

Ринн сказал — вслух. Короткое слово. Два слога. Горланное, с придыханием.

Илья не понял.

Тёплая-вода перестала качать дочь. Посмотрела на брата. Долго. Потом — на Илью. И в её взгляде Илья увидел — впервые за девять дней — растерянность.

Ринн повторил слово. Громче.

Потом встал. Прошёл мимо Ильи — близко, почти задев его плечом, — и пошёл по галерее. К лестнице. Вниз.

Илья смотрел ему вслед.

Тёплая-вода смотрела тоже.

\* \* \*

— Что он сказал? — спросил Илья у Веры через десять минут.

Вера сидела у бассейна. Ая — рядом. Илья рассказал. Повторил слово — как мог, коряво, с русским акцентом. Два слога. Придыхание.

Ая услышала — и замерла.

Вера смотрела на неё. Слушала.

Потом — медленно, как будто сама не верила, — повернулась к Илье.

— Пап. Ая говорит — у них нет такого слова. — Пауза. — Не было. Он его... придумал. Сам. Сделал. Из двух других.

— Каких?

Вера помолчала. Ая что-то показывала ей — Илья видел только, как девочка смотрит на Веру, не отрываясь, очень серьёзно.

— Первое — это как «стекло», — сказала Вера. — То, что между ним и остальными. То, за чем он сидел. А второе... — Она запнулась. — Второе — это как «один». Не «одинокый». У них есть слово для одинокого — так они нас называют. «Одинокие». Это — другое. Это — «один, потому что сам так захотел».

Илья молчал.

— Ая говорит, — продолжала Вера тихо, — что он сказал это тебе. Не им. Тебе. Потому что думал — ты поймёшь. Ты — одинокий. Ты — знаешь, что это.

— Что — это?

Вера посмотрела на Аю. Ая смотрела на неё.

— Она говорит — он сказал: «Я — как вы».

\* \* \*

Галина Петровна Остроумова приехала в два.

На такси — от метро, с ноутбуком в старой кожаной сумке через плечо, в летнем платье в мелкий цветочек и с соломенной шляпой, которую она тут же сняла и положила на стол в лаборатории с круглым окном. Хранитель времени. Человек, который всю жизнь отвечал за то, чтобы секунда в России была ровно секундой, — и который полтора года назад, в феврале, первым увидел, что секунда перестала быть секундой. Что Земля замедляет вращение. Что сутки становятся длиннее.

Она поздоровалась с Ильёй. С Петром Андреевичем. Погладила Ньютона. Ньютон позволил.

Потом посмотрела в окно — во двор, на бассейн, на детей. Постояла.

— Я в первый раз, — сказала она. — После. — Пауза. — Двадцать первого я была в Менделееве. У эталона. Сидела в зале с часами. Там нет окон. Я ничего не видела. Только по телефону потом. Видео.

Она смотрела во двор.

— Они маленькие, — сказала она. — Я думала... не знаю, что я думала. А они маленькие. Дети. Обычные дети.

Ветрова пришла через десять минут. Наталья Андреевна — с термосом кофе, с двумя ноутбуками, растрёпанная, в джинсах и в мятой футболке, — как всегда. Поставила термос на стол.

— Я видела, — сказала она Остроумовой. — Ваш файл. Сегодня ночью. Вы мне в три прислали.

— Вы проверили?

— Проверила. — Ветрова села. Тяжело. — Три раза. Разными методами. — Пауза. — Галина Петровна, я не нашла ошибки.

Остроумова кивнула. Как будто ждала этого.

Илья смотрел на них. На двух женщин — одна в цветочек, другая в мятой футболке, — которые не нашли ошибки.

— Покажите, — сказал он.

Остроумова открыла ноутбук. Повернула к нему.

На экране была кривая. Не та, что у Петра Андреевича. Другая. Одна линия. Плавная, медленно идущая вниз. С февраля прошлого года — почти горизонтально. Потом, с ноября, — вниз. С февраля этого года — круче. Короткий подъём на двадцать первое июня — маленький, как зубец. И снова вниз.

И — горизонтальная черта. Пунктиром. Поперёк экрана.

Линия шла к ней.

— Это не гул, — сказала Остроумова. — Это то, что держит гул. — Она помолчала. — Илья Сергеевич, вы знаете модель Курамото?

Илья знал. Смутно. Со студенческих лет. Японский физик, семидесятые годы. Связанные осцилляторы. Метрономы на одной доске, которые сами начинают тикать в такт. Светлячки в Малайзии, которые вспыхивают одновременно, — целыми деревьями. Клетки сердечного ритма.

— Знаю, — сказал он. — Немного.

— Тогда вы знаете, что у этой модели есть порог. — Остроумова провела пальцем по пунктирной черте. — Критическая связь. Пока связь выше — осцилляторы держатся вместе. Пока ниже — каждый тикает сам по себе.

— Знаю.

— А знаете, что бывает, если связь падает медленно — а потом пересекает порог?

Илья молчал.

Остроумова посмотрела на него. Глаза у неё были спокойные. Очень спокойные. Как у человека, который смотрел на эту кривую всю ночь — и уже отбоялся.

— Я посчитала, Илья Сергеевич, — сказала она. — Сколько у нас осталось.

За окном, во дворе, смеялись дети. Брызгались. Болтали ногами в тёплой воде.

Ньютон прыгнул с колен Петра Андреевича и ушёл.

## Глава 2. Порог

— Метрономы, — сказала Остроумова. — Начнём с метрономов. Так проще.

Она открыла на ноутбуке видео. Илья его знал — его, кажется, знали все, кто хоть раз читал научно-популярные книжки. Деревянная доска на двух пустых жестяных банках из-под газировки. На доске — пять метрономов. Студент в клетчатой рубашке запускает их по одному, вразнобой: тик-так, так-тик, тик-тик-так. Какофония. Каждый — в своём ритме, в своей фазе.

Проходит минута.

Доска на банках начинает едва заметно покачиваться. Влево-вправо. Метрономы толкают её — каждый по-своему, — а она толкает их в ответ. Всех сразу.

Ещё минута.

Тик-так. Тик-так. Тик-так. Все пять — в такт. Одновременно. Как будто ими дирижирует невидимая рука.

— Связь, — сказала Остроумова. — Доска передаёт каждому метроному понемногу от остальных. Если связь слабая — если доска стоит на столе, а не на банках, — они так и тикают вразнобой. Если связь сильнее некоторого порога — они собираются. Сами. Без дирижёра.

Она закрыла видео.

— Есть простое уравнение, — сказала она. — Его написал японец, Ёсики Курамото, в семьдесят пятом году. Тогда им никто не заинтересовался. Потом — все. Оно описывает всё, что тикает и связано между собой. Метрономы. Светлячков в мангровых лесах Таиланда, которые вспыхивают целыми деревьями, одновременно, тысячи. Клетки синусового узла в вашем сердце — их десять тысяч, каждая тикает сама, а вместе они дают один удар. Генераторы в энергосистеме. Нейроны.

Она посмотрела на Илью.

— И колокол.

\* \* \*

Илья помнил, когда первый раз услышал о колоколе.

Не от Горелова — Горелов называл его иначе, «основной модой связи», — а от Петра Андреевича, позапрошлой зимой, в Новосибирске, по телефону. «Илья Сергеевич, оно звенит. Весь шар. Как колокол. Три часа сорок одна минута семнадцать секунд». Тогда это было просто число. Период. Строка в журнале. Пульсация Бетельгейзе, пульсация мюонного фона на Баксане, пульсация гравиметра в Менделееве — всё в такт, всё — одна и та же нота.

Потом — Горелов объяснил. В лаборатории с круглым окном, незадолго до того, как перестал вставать. Две браны — два листа пространства — слипаются там, где касаются. Земля — одно из мест касания. Звон — это то, как они держатся друг за друга. Не клей, не гвоздь — колебание. Общее. Пока оно общее — листы вместе.

Потом, в ноябре, на Немо, бур прошёл четыре километра — и звон раздвоился.

Потом, в феврале, — растроился.

Три ноты. Почти одинаковые. Почти. Расходящиеся на сотые доли процента — и всё дальше.

— У Курамото, — говорила Остроумова, — есть параметр. Связь. Буквой «К». Сила, с которой каждый осциллятор тянет остальных к себе. И есть второй параметр — разброс. Насколько сами по себе разные частоты. Если разброс маленький, а связь большая — все вместе. Если разброс большой, а связь маленькая — каждый сам.

— И между ними — порог.

— Между ними — порог. Критическая связь. «К» с индексом «кр». Критическая. — Остроумова кивнула. — Это я и считала, Илья Сергеевич. Не гул. Не частоты. Отношение. Насколько наша связь больше критической.

Она провела пальцем по кривой на экране.

— В феврале двадцать восьмого — около трёх. Второе больше порога. Очень прочно. Колокол чистый, одна нота. Потом — медленно вниз. К ноябрю, после первой трещины на Немо, — два и две десятых. В феврале этого года, когда расщепилось натрое, — один и семь. Двадцать первого июня — подскок. На сорок одну минуту — до двух. Потом — назад.

Палец остановился на правом краю кривой.

— Сегодня утром — один и сорок две сотых.

— А порог — единица.

— Порог — единица.

Илья смотрел на пунктирную черту поперёк экрана. На кривую, которая шла к ней — плавно, неторопливо, как идёт вниз по склону вода.

— Как вы это меряете? — спросил он. — Связь нельзя увидеть. Её не видно на сейсмограмме.

— Нельзя, — согласилась Остроумова. — Её видно по тому, как колокол отвечает на удары.

Она открыла другой файл.

\* \* \*

Это было красиво. Илья потом, много позже, думал, что это была самая красивая работа, которую он видел в жизни, — и что сделана она была за три недели, ночами, женщиной шестидесяти с лишним лет в летнем платье в цветочек, в зале без окон, рядом с атомными часами.

Колокол, объясняла Остроумова, получал удары постоянно. Землетрясения. Приливы. Буры — каждый оборот бура был маленьким ударом. Взрывы — их было много за этот год. Каждый удар немного сбивал три ноты с общего ритма. А потом — они возвращались. Сами. Как метрономы на доске.

— Вопрос — как быстро возвращаются, — сказала она. — Если связь сильная — сбились и тут же вернулись. Если слабая — долго болтаются, прежде чем сойтись. Это называется время релаксации. Чем ближе к порогу — тем оно длиннее. В физике это называют критическим замедлением. Перед любым переходом. Перед тем как вода закипит. Перед тем как лёд растает. Перед тем как рынок обвалится — экономисты это тоже знают, только им никто не верит.

Она показала график. Точки. Сотни точек. Каждая — удар и время, за которое три линии снова сходились.

— Я взяла все сильные землетрясения с февраля прошлого года. Сто двенадцать. Все взрывы, о которых знаю. Сорок три. Все пуски и остановки буровых — по данным Петра Андреевича. И посмотрела, как долго колокол каждый раз приходил в себя.

Точки шли вверх. Сначала — медленно, почти горизонтально. Потом — круче.

— В феврале двадцать восьмого — двенадцать минут, — сказала она. — Сейчас — четыре часа.

— Четыре часа, — повторил Пётр Андреевич. Тихо. Он слушал, не перебивая, — с тем видом, с каким, наверное, слушал когда-то отчёты молодых инженеров о новых детекторах. С лицом человека, который знает ответ и ждёт, когда его скажут вслух.

— Из времени релаксации считается связь, — сказала Остроумова. — Это стандартный приём. Я не придумывала ничего нового. Всё — из учебников. Модель Курамото, критическое замедление, флуктуационно-диссипационная теорема. Только данные — новые.

Она закрыла файл. Открыла первый. С кривой и пунктиром.

— А теперь — самое неприятное.

\* \* \*

Самое неприятное называлось гистерезисом.

Илья знал это слово. Его знал любой физик. Магнит, который помнит, куда его намагнитили. Термостат, который включается при восемнадцати, а выключается при двадцати двух. Петля на графике — туда по одной дорожке, обратно по другой.

— В классической модели Курамото, — говорила Остроумова, — переход мягкий. Связь падает — синхронность тает постепенно. Как туман. Если связь потом вернуть — синхронность вернётся. По той же дорожке. Это было бы хорошо. — Она помолчала. — Но в две тысячи одиннадцатом году испанцы — Гомес-Гарденьес и коллеги — нашли, что бывает иначе. Если осцилляторы связаны не все со всеми одинаково, а сетью, где у каждого — своё число соседей, и частота каждого зависит от того, сколько у него соседей, — переход становится взрывным. Синхронность держится, держится, держится — до самого порога. А потом рвётся. Сразу. Скачком.

— Как перегретая вода, — сказал Илья.

— Как перегретая вода. Как лавина. — Остроумова кивнула. — И обратно — не по той же дорожке. Чтобы снова собрать, надо поднять связь намного выше порога. Не до единицы. До двух с половиной. Может, до трёх.

— Почему вы думаете, что у нас взрывной вариант?

Остроумова посмотрела на Ветрову.

Ветрова открыла свой ноутбук. Повернула экран.

На экране была карта. Не карта Земли — схема. Узлы и линии. Как карта метро, только запутанная, многослойная, с сотнями узлов.

— Это корни, — сказала Ветрова. — Насколько мы их понимаем. По Вериним тетрадам. По тому, что рассказывали Ая и другие дети. По сейсмическим данным с Немо и Арктиды — Брагина нашла решётку на пяти километрах, помните? Шестиугольную. Узлы — под каждым их городом. Под каждым домом — маленький узел. Под большими городами — большие. Связаны не все со всеми. Сетью. И у каждого узла — своя собственная частота, чуть-чуть разная. И зависит она от того, сколько к нему сходится нитей.

Она помолчала.

— Это ровно та сеть, Илья Сергеевич. Ровно та, для которой испанцы нашли взрывной переход. Я проверила трижды. Я не хотела, чтобы это было так.

Илья молчал.

— Есть ещё одно, — сказала Ветрова. — Посмотрите на двадцать первое июня. На скачок. Связь поднялась до двух — за сорок одну минуту. Потом упала. Не плавно. Скачком. В девятнадцать двадцать две. Когда люди открыли глаза. — Она помолчала. — В мягкой модели так не бывает. В мягкой — она бы сползла. Медленно. А у нас — упала. Как с полки.

\* \* \*

— Сколько? — спросил Илья.

Остроумова повернула ноутбук обратно к себе. Посмотрела на экран, хотя Илья был уверен — она знала ответ наизусть.

— Если всё будет так, как сейчас, — сказала она. — Если буры будут работать, как работают. Если будут сносить дома, как сносят. Если не будет ни новых Тишин, ни новых войн. Если тренд сохранится — линейно, без сюрпризов...

Она замолчала.

— Двадцатое марта, — сказала она. — Следующего года. Плюс-минус три недели.

Ветрова не подняла головы.

Пётр Андреевич гладил несуществующего кота — Ньютон давно ушёл, а рука по привычке двигалась по колену.

— Равноденствие, — сказал Илья.

— Совпадение, — сказала Остроумова. — Я проверяла. Нет никакой физической причины. Просто — так ложится прямая. — Она помолчала. — Хотя Горелов бы сказал, что совпадений не бывает.

— Горелов много чего говорил.

— Горелов почти всегда оказывался прав.

Илья встал. Подошёл к круглому окну.

Во дворе было солнце. Июль. Тридцать градусов в тени. Дети у бассейна. Женщины у чаш — их и наши — расстилали на песке пледы. Старик-их и Борис Ефимович сидели на скамье у западной стены и чинили что-то — Илья не видел, что. Фёдор с банкой мёда. Ольга в белом халате — она принимала в бывшей кладовой у ворот, раз в день, всех, кто приходил: наших, их, без разницы. У входа в кладовую стояла очередь. Человек десять.

Восемь месяцев.

— Галина Петровна, — сказал он, не оборачиваясь. — Что будет, если связь пересечёт порог?

Тишина за спиной.

— Это — вопрос к вам, Илья Сергеевич, — сказала Остроумова. — Я считаю время. Не энергию.

\* \* \*

Он считал до вечера.

Сидел в своей комнате, четырёхста шесть, за столом у окна, с ноутбуком и с тетрадью в клетку — той самой, где когда-то было обведено до дыр: «А если не только гравитация?» Тетрадь кончалась. Последние двадцать страниц — расчёты прошлого года. Рост радиуса. Масса Солнца. Орбита Апофиса.

Он начал новую страницу.

Если браны расцепятся, думал он, — что останется? Что — наше, а что — их?

Горелов говорил: при слиянии каждый мир приносит своё. Их материки — их. Их дома — их. Их корни, их ткань, их люди — их. Наше — наше. Но есть и общее. То, что появилось из-за слияния, — не у нас, не у них, а между. Лишние четырнадцать километров радиуса Земли — это не их Земля и не наша. Это — шов. Место, где два шара стали одним.

Если шов разойдётся — шов исчезнет.

Он считал.

Земля — шесть с половиной на десять в двадцать четвёртой килограмма... нет. Сейчас — больше. Он вписал новое значение массы — из прошлогодних расчётов, из гравиметрии Остроумовой. Радиус — шесть тысяч триста восемьдесят пять. Было — шесть тысяч триста семьдесят один.

Энергия связи шара. Гравитационная. Три пятых, жэ, эм квадрат, делённое на эр. Для однородного шара — грубо. Для настоящей Земли, с тяжёлым ядром, — коэффициент чуть больше. Неважно. Порядок.

Он посчитал энергию сейчас. Посчитал энергию — если радиус за секунды, за минуты вернётся к старому. Если шар сожмётся.

Вычел.

Посмотрел на число.

Пять на десять в двадцать девятой джоулей.

Он не сразу понял, что это значит. Числа такого порядка не значат ничего — они слишком велики, чтобы их почувствовать. Он стал сравнивать. Так его когда-то учили — в МГУ, на первом курсе, старый профессор, который говорил: «Число без сравнения — это не физика, это бухгалтерия».

Солнце излучает за секунду — четыре на десять в двадцать шестой. Значит — тысяча с лишним секунд солнечного света. Двадцать минут всего Солнца — в одну Землю.

Удар астероида, убившего динозавров, — десять в двадцать третьей. Значит — пять миллионов таких ударов. Одновременно.

Он стал считать, сколько нужно, чтобы расплавить кору. Масса коры — около двух с половиной на десять в двадцать второй килограмма. Нагреть до плавления, расплавить. Примерно миллион джоулей на килограмм — с запасом. Два с половиной на десять в двадцать восьмой.

Двадцать.

Энергии хватит, чтобы расплавить всю кору Земли — двадцать раз.

Илья положил ручку.

За окном пели серые птицы. Внизу, во дворе, смеялись дети. Кто-то — наш — играл на гитаре. Плохо. Три аккорда. Кто-то — их — подпевал. Без слов.

Магматический океан. Так это называют планетологи. Так была устроена Земля четыре с половиной миллиарда лет назад, когда в неё врезалась Тейя — планета размером с Марс — и выбила из неё Луну. Тогда вся поверхность была жидким камнем. На сотни километров вглубь. Тысячи лет.

Он посчитал ещё. Масса Солнца — минус три десятых процента, если их вклад уйдёт. Орбита Земли — станет чуть вытянутой. Эксцентриситет — три тысячных. Это ничего. На фоне остального — ничего. Новые материки — исчезнут. Немо, Лемурия, Арктида. Океан хлынет в пустоты, которые они занимали. Цунами — по всем побережьям мира. Это — тоже ничего. На фоне остального.

Он перечитал. Всё. Строчку за строчкой. Искал ошибку — так же, как два года назад, в ту ноябрьскую ночь на «Цейссе», искал ошибку в спектре. Тогда он надеялся, что ошибка есть.

Сейчас — тоже надеялся.

Ошибки не было.

Порядок величины может быть другим — в десять раз больше, в десять раз меньше. Если шов разойдётся не сразу, а за часы — тоже ничего не изменится: энергия та же, просто выделится медленнее. Если не вся. Если только половина.

Даже десятой части хватит.

И это — для обоих. Шов — общий. Земля — общая. Их сторона тоже стоит на ней. Их корни — в той же коре. Их дети — у того же бассейна.

Он закрыл тетрадь.

Посидел.

Потом открыл снова — и на последней строчке страницы, внизу, написал. Мелко. Аккуратно. Как когда-то, в первую ночь, писал Дементьеву письмо без единого прилагательного:

«Порог — не для них и не для нас. Для обоих».

\* \* \*

Вечером они сидели у чаши. Вчетвером. Илья, Остроумова, Ветрова, Пётр Андреевич.

Ниша у западной стены. Изогнутые песочные диваны вокруг каменной чаши, в которой горел огонь. Сам. Без спичек. Как горел каждый вечер. Год назад, когда Илья впервые сел у этой чаши, их было двенадцать — двенадцать огней вдоль бассейна. Двадцать первого июня — сорок один. Сейчас — горели все. Каждый вечер.

Над двором темнело. Июльское небо — светлое, не до конца чёрное. Серп луны над восточным крылом.

На скамье напротив, через бассейн, сидели их. Трое старших. Женщина с седыми косами — та, которую Вера называла Та-что-помнит-реки. И двое мужчин — один совсем старый, второй помоложе. Они сидели неподвижно. Смотрели на воду.

Илья знал: они держат.

Вера объясняла — давно, ещё осенью: у них есть те, кто держит. Не работа. Не должность. Просто — некоторые умеют чувствовать корни лучше, чем остальные. Слышат, как под землёй

тянутся нити. И когда нити дрожат — садятся. И держат. Своим теплом. Вниманием. Как держат руку больного.

На Лемурии двое таких умерли — в декабре, когда бульдозер вошёл в сад. Не от бульдозера. От того, что держали — и не удержали.

— Мы должны сказать, — сказал Илья.

— Кому? — спросила Ветрова.

— Всем.

— Нам не поверят, — сказала Остроумова. Не возражая — констатируя. — Нам не поверили в мае прошлого года. В ноябре. В феврале. В марте, с докладом. Нам не поверили, когда Илья Сергеевич вынес три сейфа. Нам не поверят и сейчас.

— Тогда — тем более.

Пётр Андреевич молчал. Он смотрел на старших на той стороне бассейна.

— Илья Сергеевич, — сказал он. — Это надо проверить. Не нам — нам уже понятно. Другим. Тем, кому верят.

— Кому сейчас верят?

— Не знаю, — сказал Пётр Андреевич. — Но знаю, кому верят те, кто ставит коробочки. — Он кивнул на свой ноутбук — тот стоял рядом, на диване, экраном вниз. — Сто девяносто две тысячи человек. Каждый поставил коробочку сам. Каждый видит свою строчку. Если они увидят то же, что мы, — своими глазами, на своих строчках, — им не нужно будет нам верить.

— Вы хотите выложить данные.

— Хочу выложить метод. — Пётр Андреевич посмотрел на Остроумову. — Галина Петровна, ваш расчёт — его можно сделать для каждой строки? Для каждой коробочки отдельно? Чтобы человек в Перми мог посчитать связь по своей строке — и получить то же, что вы?

Остроумова подумала.

— По одной строке — грубо. Шумно. Но — да. Можно. А если сложить сто строк из одного города — уже хорошо. Если тысячу — уже почти как у меня.

— Тогда — так, — сказал Пётр Андреевич. — Метод. Программа. Каждый считает сам. А мы — молчим. Пусть они нам скажут.

Ветрова подняла голову.

— Это займёт время.

— Месяц, — сказал Пётр Андреевич. — Может, два. Программу я напишу за неделю. Проверим на своих. Потом — выложим.

— Месяц, — повторил Илья.

— Илья Сергеевич. — Пётр Андреевич посмотрел на него. — Если вы выйдете завтра и скажете: «Конец света через восемь месяцев», — что будет?

Илья молчал.

— Я вам скажу, что будет, — сказал Пётр Андреевич. — Будет как с хлебом. Как с белыми домами в апреле. Будет — «паникёр». «Заражённый». «Агент». Будет — что вы говорите это, чтобы остановить добычу. Чтобы кто-то другой успел первым. Будет — расследование. Будет — «распространение заведомо ложной информации, повлёкшее массовые беспорядки». — Он помолчал. — Нас всех за это посадят. Всех, кто подпишет. Не здесь — везде. Ребенку уже сажали. Лю — сидит. Чжао — сидит. Брагина — под подпиской. Это не про одну страну, Илья Сергеевич. Это про всех.

— А если через месяц?

— Через месяц это скажете не вы. Это скажут сто девяносто тысяч человек. Каждый — про свою строку. — Пётр Андреевич помолчал. — Сто девяносто тысяч не посадишь.

\* \* \*

Но одно письмо Илья всё-таки написал. В ту же ночь.

Не в газету. Не в комиссию. Не Олегу Николаевичу — тот бы переслал, но переслал бы туда, откуда не возвращаются ответы.

Он написал двоим. По-английски.

Ребекке Холт — на адрес, который ей дал адвокат, на случай, если её выпустят. Её не выпустили — пока. Но адвокат обещал: в середине месяца — слушание о залоге. Илья надеялся.

И Лю Вэю — на старый, ещё студенческий адрес, который Лю дал ему пятнадцать лет назад на конференции в Гонолулу и который, может быть, ещё работал. Может быть, его ещё кто-нибудь читал. Может быть — тот молодой охранник, который плакал двадцать первого. Илья не знал.

Письмо было коротким.

«Галина Остроумова посчитала связь колокола по Курамото. Отношение к критической — 1,42 сегодня. Тренд — к единице около 20 марта 2030. Переход — вероятно, взрывной (Гомес-Гарденьес, 2011), с гистерезисом. Энергия при расцеплении — порядка  $5 \cdot 10^{29}$  Дж. Достаточно для расплавления коры. Для обеих сторон.

Метод и данные — во вложении. Пожалуйста, проверьте сами. Не верьте мне. Посчитайте.

И. Л.»

Он отправил.

Потом сидел у окна и смотрел на двор. На огни в чашах. На старших у бассейна — они так и сидели, неподвижно, держа. На галерею третьего этажа — там, у двери двести двадцать седьмой, никого не было. Ринн ушёл днём и не вернулся.

В пять сорок одну он проснулся — на стуле, у окна, с тетрадью на коленях. Не помнил, когда заснул.

Он не сразу понял, что его разбудило.

Потом понял.

Колокол.

Он его не слышал — конечно, не слышал, его никто из наших не слышал, только коробки, только гравиметры, только дети вроде Аи. Но тело — проснулось. Как всегда. В пять сорок одну.

Только сегодня — Илья сидел и чувствовал это — что-то было не так. Как будто нота, которую он не слышал, прозвучала чуть-чуть фальшивее, чем вчера.

Он не мог этого знать.

Он знал.

Внизу, во дворе, у бассейна, сидели трое старших. Всё так же. Неподвижно.

Они не уходили всю ночь.

### Глава 3. Регистрация

Палатку поставили в понедельник, в восемь утра.

Белую, армейскую, на металлическом каркасе, — прямо на асфальтовой площадке перед воротами, там, где год стояли машины кордона. Внутри — три складных стола. На столах — ноутбуки, сканеры отпечатков, маленькие фотокамеры на штативах. Принтер для пластиковых карточек. Генератор — он загудел в восемь пятнадцать и гудел потом весь день, ровно и тупо, как гудит что-то, что не умеет думать.

Персонала — шесть человек. Двое полицейских — вчерашние. Женщина из миграционной службы — немолодая, полная, в очках на цепочке, с усталым добрым лицом, похожим на лицо учительницы начальных классов. Двое молодых техников в одинаковых синих футболках с надписью «Цифровой учёт». И мужчина в штатском — лет сорока, худой, с короткой стрижкой, — который ни с кем не разговаривал, стоял у входа в палатку и смотрел.

Вера пришла в восемь тридцать.

С Аей. В простом сером платье — Илья видел, как она выбирала его утром, долго, перебирая всё, что было в шкафу, — и с волосами, собранными в хвост. Ая — в своей обычной светлой рубашке до колен. Босиком.

Полицейский — тот, у которого дочка, четыре года, — увидел их и вышел из палатки.

— Котов, — сказал он. — Сержант Котов. Андрей. — Протянул руку Вере. Потом, после секундного колебания, — Ае. Ая посмотрела на руку. Потом — на Веру. Вера кивнула. Ая положила свою ладонь на ладонь сержанта. Не пожала — положила. Плоско. И подержала.

Котов замер.

Илья, стоявший у ворот, видел его лицо. Как оно изменилось. Не сильно — чуть-чуть. Как будто человек открыл дверь, ожидая холода, а там оказалось тепло.

Ая убрала руку.

— Она так здоровается, — сказала Вера. — У них нет рукопожатий. Они кладут ладонь. Чтобы почувствовать.

— Что почувствовать? — Голос у Котова был хриплым.

— Вас.

Котов ничего не сказал. Посмотрел на свою ладонь. Потом — на мужчину в штатском у входа. Тот смотрел на него. Без выражения.

Котов опустил руку.

— Пойдёмте, — сказал он. — Я вам покажу, что тут. Чтобы вы... ну. Объяснили им.

\* \* \*

Объяснять было трудно.

Вера стояла у первого стола — того, где камера, — и смотрела на штатив. Долго. Илья видел, как она думает. Потом повернулась к Ае. Наклонила голову.

Ая слушала.

Потом — что-то показала. Илья не видел, что. Просто девочка посмотрела на камеру, потом на Веру, потом закрыла глаза — на секунду, — и открыла.

— Она спрашивает, — сказала Вера, — зачем вам их лицо в коробке. Если оно у них и так есть.

Женщина из миграционной службы — её звали Людмила Фёдоровна, она представилась всем, даже Ае, — сняла очки. Протёрла. Надела снова.

— Чтобы... — Она подумала. — Чтобы знать, кто есть кто. Чтобы, если человек потеряется, — найти. Если заболит — знать, кто он. Если... — Она замолчала.

— Если что? — спросила Вера.

Людмила Фёдоровна посмотрела на мужчину в штатском. Потом — на Веру.

— Если что-нибудь случится, деточка, — сказала она тихо. — Это просто учёт. Мы всех учитываем. И вас тоже. У вас же есть паспорт? Там тоже фотография.

Вера перевела. Илья не знал, как. Не знал, что из этого можно перевести — «учёт», «паспорт», «если что-нибудь случится», — на язык, в котором нет ни учёта, ни паспортов, ни «если».

Ая слушала. Потом — посмотрела на Людмилу Фёдоровну. Долго. Тем взглядом.

И кивнула.

— Она говорит, — сказала Вера, — что поняла. Что вы боитесь кого-нибудь потерять. И хотите их лица, чтобы помнить. — Пауза. — Она говорит — у них тоже так. Только они помнят не в коробке. Они помнят в ткани.

Людмила Фёдоровна долго молчала.

— Ну, — сказала она наконец. — Пусть так. Пусть так и будет. — Она повернулась к техникам. — Начинаем, мальчики.

\* \* \*

Первой пришла мать Аи.

Сама. Никто её не звал. Вышла из ворот — высокая, тёмноволосая, в длинном светлом платье, босая, — прошла через площадку и остановилась у палатки. Посмотрела на Веру.

Вера кивнула.

Мать Аи вошла.

Илья смотрел снаружи, через откинутый полог. Видел, как техник — молодой, с прыщами на подбородке, — показал ей на табурет перед камерой. Как она посмотрела на табурет — с интересом, как смотрят на незнакомую вещь, — и не села. Как техник показал ещё раз, жестом: сюда, садитесь. Как Вера сказала что-то — тихо, вслух и не вслух одновременно. Как мать Аи села. Ровно. Положив руки на колени.

Камера щёлкнула.

На экране ноутбука — лицо. Илья видел его краем глаза. Узкое, спокойное, с высокими скулами. С тем выражением.

Техник смотрел на экран. Не сразу нажал «сохранить».

Потом — отпечатки.

Сканер был маленький, серый, с зелёной стеклянной пластинкой. Техник взял правую руку матери Аи — осторожно, двумя пальцами за запястье, — и потянул к сканеру. Показать: вот так, большой палец, прижмите.

Мать Аи посмотрела на сканер. Потом — на свою руку. Потом — на техника.

И положила на стекло всю ладонь.

Плоско. Пальцы вместе. Как Ая — Котову.

Сканер пискнул. Ошибка. На экране — красная надпись: «Некорректное положение пальца».

Техник растерялся.

— Нет-нет, — сказал он. — Не так. Один палец. Вот так. — Он показал на себе. Прижал свой большой палец к столу.

Мать Аи смотрела. Потом — снова положила ладонь. Всю.

Сканер пискнул.

— Вера, — сказал техник. — Скажите ей. Пожалуйста. Один палец.

Вера наклонила голову. Слушала. Долго.

— Она говорит, — сказала Вера медленно, — что не понимает, почему один. Она говорит — один палец ничего не скажет. Если вы хотите её знать — нужна вся рука.

Техник посмотрел на Людмилу Фёдоровну. Людмила Фёдоровна — на мужчину в штатском. Мужчина в штатском — впервые за утро — шагнул внутрь палатки.

— Объясните ей, — сказал он. Голос был ровным, негромким, без раздражения. — Это не просьба. Это процедура. Без отпечатков регистрация недействительна.

Вера посмотрела на него.

Илья видел её лицо. Видел, как она думает: сказать? Не сказать? Перевести «это не просьба»? На язык, где не бывает «не просьба»?

Она повернулась к матери Аи.

И сказала — вслух, по-русски, громко, так, чтобы слышали все:

— Мама Аи. Пожалуйста. Один палец. Это... им так нужно. Это для них важно. Они не умеют по-другому.

И одновременно — Илья видел — сказала что-то ещё. Не голосом.

Мать Аи посмотрела на Веру.

Потом — на мужчину в штатском. Долго.

И Илья увидел — впервые за десять дней, за год, за всю свою жизнь рядом с ними, — как у одной из них между бровей появилась складка.

Маленькая. Едва заметная.

Мать Аи протянула руку. Прижала к стеклу большой палец.

Сканер пискнул. Зелёным.

\* \* \*

К полудню прошли двадцать семь человек.

Медленно. Каждый — по десять, пятнадцать минут. Каждому — объяснить. Табурет. Камера. Палец — один, не ладонь. Потом — второй палец. Потом — остальные, по одному. Потом — карточка.

Карточки печатал принтер. Белые, пластиковые, с синей полосой. На карточке — фотография. Номер — длинный, буквы и цифры. Дата регистрации. И строчка: «Ф. И. О.».

На этой строчке техники спотыкались каждый раз.

— Как её зовут? — спрашивал техник у Веры.

Вера спрашивала. Слушала. Отвечала:

— Её зовут... — И замолкала.

Потому что как сказать?

Вера объясняла это Илье ещё зимой, ещё когда они не были видны. У них имён в нашем смысле нет. Есть — то, как другие чувствуют тебя через ткань. Это не слово. Это — ощущение. Тепло определённого оттенка. Запах дождя. Звук ручья. Вера называла их, как могла: Тёплая-вода. Та-что-помнит-реки. Лиэн — это было ближе всего к слову, потому что Лиэн сам однажды попытался произнести себя вслух, для неё, и получилось что-то вроде «лиэн». Ринн — тоже. Но у большинства — ничего. Ощущение. Которое нельзя напечатать на пластиковой карточке.

— Пишите «мать Аи», — сказала Вера про первую.

Техник написал. «Мать Аи». В строке «Ф. И. О.». Принтер напечатал.

— А отчество?

— Нет отчества.

— А фамилия?

— Нет фамилии.

Техник посмотрел на экран. Программа подчеркнула поле красным. Обязательное.

— Пишите «нет», — сказала Людмила Фёдоровна. — «Не установлено». Пишите «не установлено».

Так и пошло.

«Мать Аи. Не установлено. Не установлено».

«Старик у печи. Не установлено. Не установлено».

«Женщина с косой, третий этаж, восточное крыло. Не установлено. Не установлено».

Вера к обеду почти не говорила. Сидела у стола на складном стуле — Котов принёс ей откуда-то, — пила воду из бутылки, смотрела в пол. Ая сидела у неё на коленях. Тоже молчала.

Илья принёс ей хлеб. Она взяла. Не ела.

— Пап, — сказала она. Тихо. Так, чтобы никто не слышал. — Пап, они спрашивают меня, что такое «не установлено».

— Что ты им говоришь?

— Говорю — это значит, что мы не знаем, как вас называть. — Она отломил кусочек хлеба. Положила обратно. — А они говорят: но вы же знаете. Вы же нас видите. Зачем вам ещё что-то?

Илья не знал, что ответить.

— Знаешь, что самое страшное? — Вера подняла голову. — Они не обижаются. Совсем. Им не обидно. Им — интересно. Они стоят в очереди и думают: какие странные одинокие. Хотят положить наши лица в коробку. Хотят один палец вместо руки. Хотят слово вместо тепла. — Она помолчала. — Им интересно, пап. Они думают, это игра. Что мы так знакомимся.

— А это не так?

Вера посмотрела на палатку. На мужчину в штатском у входа. На генератор, который гудел.

— Не знаю, — сказала она. — Не знаю.

\* \* \*

Во второй половине дня пришёл Ринн.

Илья увидел его первым. Он стоял у ворот — не входил на площадку, не подходил к палатке. Стоял за решёткой, с той стороны, во дворе. Смотрел.

Он вернулся вчера ночью — Илья узнал утром от Веры. Пришёл из соседнего дома, откуда Лиэн так и не вернулся, сел снова у двери двести двадцать седьмой — и сидел до утра. Утром спустился во двор. Теперь стоял у ворот.

Котов тоже его заметил.

— Это ваш? — спросил он у Ильи. Потом поправился: — Ну, то есть. Из этого дома?

— Он из соседнего. Пришёл двадцать второго.

Котов посмотрел в свой планшет. Пролистал что-то.

— Тогда его надо там, — сказал он. — По месту обнаружения. Здесь — только с пометкой.

— Я знаю.

— Это плохая пометка, — сказал Котов. Так же, как говорил Олег Николаевич. Почти теми же словами. — Его потом... ну. Будут смотреть отдельно.

Илья подошёл к воротам.

Ринн стоял за решёткой. Высокий, худой, с неровно стриженными волосами. С теми глазами.

— Ринн, — сказал Илья.

Ринн посмотрел на него.

Илья не знал, что сказать дальше. Не было Веры — Вера была в палатке, с очередной женщиной, с очередным пальцем на зелёном стекле. Не было Аи. Были они двое — и решётка между ними.

— Тебе надо пройти, — сказал Илья. Вслух. По-русски. Зная, что тот не поймёт. — Или вернуться. В тот дом. Где ты был. Они тебя там регистрируют. Без пометки. Так будет лучше.

Ринн смотрел.

Потом — медленно — поднял руку. Посмотрел на свою ладонь. На большой палец.

Опустил.

И сказал — вслух, тихо, тем гортанным голосом, — то слово. Два слога. С придыханием.

«Я — как вы».

Повернулся. Пошёл к бассейну. Сел на край, спиной к воротам. Опустил ноги в воду. И больше не двигался.

\* \* \*

Вечером Людмила Фёдоровна подошла к Илье.

Палатку закрыли в семь. Техники упаковали ноутбуки, выключили генератор. В наступившей тишине было слышно, как во дворе плещется вода. Мужчина в штатском уехал в шесть — на чёрной машине, не попрощавшись. Котов курил у автобуса.

Людмила Фёдоровна сняла очки. Повесила на цепочку.

— Илья Сергеевич, — сказала она. — Можно вас?

Он подошёл.

— Сорок три человека за день. — Она посмотрела на палатку. — У нас план — двести в день на пункт. По Москве — сто сорок пунктов. Две недели. — Помолчала. — Мы не успеваем. Нигде не успеваем. Мне коллеги звонили — в Сокольниках двенадцать за день, в Коломенском — восемь. В Коломенском у них какой-то мальчик... Не знаю. Не дал руку. Совсем. Стоял, смотрел. Его увели. — Пауза. — Я не знаю, куда.

Илья молчал.

— Я тридцать лет на этой работе, — сказала Людмила Фёдоровна. — Всяких видела. Таджикив, узбеков. Сирийцев. Афганцев. Всех учитывала. Знаете, что я всегда людям говорила? «Деточка, это просто бумажка. Без бумажки ты никто. С бумажкой — человек». — Она помолчала. — Они мне верили. Им это было нужно. Бумажка. Им без неё было страшно.

Она посмотрела во двор. Сквозь решётку. На детей у бассейна. На Ринна, который так и сидел на краю, спиной к воротам.

— А этим не страшно, — сказала она. — Совсем. Им бумажка не нужна. Они и без неё — люди. — Пауза. — Это мне страшно, Илья Сергеевич. Мне.

Она надела очки.

— Девочке вашей скажите — спасибо. Без неё бы мы тут... — Она не договорила. Махнула рукой. Пошла к автобусу.

\* \* \*

Через неделю в Лосином острове зарегистрировали триста восемь человек.

Через две — шестьсот двенадцать.

Их было больше. Илья не знал, сколько, — никто не знал. Девятьсот? Тысяча сто? Кто-то приходил из соседних домов и уходил обратно. Кто-то не спускался с верхних этажей. Кто-то — Вера говорила — просто не понимал, зачем идти, если его не зовут. У них никто никого не звал по списку. Если ты нужен — к тебе приходят.

Вера ходила. Сама. По галереям, по комнатам. Объясняла. Уговаривала. «Пожалуйста. Им это нужно. Им страшно без этого». Они слушали. Кивали. Шли.

Не все.

Ринн не пошёл.

Он сидел у бассейна. Днём — на краю, ногами в воде. Ночью — у двери двести двадцать седьмой. Не ел — Вера говорила, что он не ест с двадцать второго, только пьёт воду. Худел. Не разговаривал ни с кем. Даже с сестрой.

Четырнадцатого июля, в последний день, Котов подошёл к воротам.

— Илья Сергеевич. Тот, у бассейна. — Он не смотрел Илье в глаза. — Завтра — всё. Срок. Кто не прошёл — «не имеющие статуса». — Пауза. — Списки уже есть. По камерам. У нас камеры на всех воротах. Его лицо — в списке.

— Что с ним будет?

— Я не знаю. — Котов помолчал. — Правда не знаю. Нам не говорят. — Он посмотрел во двор. — У меня приказ — если он выйдет за ворота, задержать. Внутрь нам пока не велено. Пока.

Он повернулся уходить. Потом остановился.

— Моя дочка, — сказал он. — Четыре года. Я ей рассказал. Про девочку. Которая кладёт ладонь. — Он посмотрел на свою руку. — Дочка теперь всех так здороваётся. Воспитательница в саду жаловалась. Говорит, ребёнок странный стал.

Он ушёл.

\* \* \*

Пятнадцатого июля мужчина в штатском вернулся.

Не один. С ним — ещё трое. В штатском тоже. И автобус — другой, не белый с синей полосой, а серый, без надписей, с решётками на окнах.

Они встали у ворот. Не входили. Стояли. Смотрели.

Ринн сидел у бассейна.

Илья смотрел на них из окна столовой. Смотрел на Ринна. На мужчину в штатском, который поднял к лицу телефон, что-то сказал, опустил.

И на старших.

Та-что-помнит-реки и двое мужчин сидели на скамье у западной стены. Как сидели каждый вечер. Только сейчас было утро.

И с ними — ещё. Илья не сразу заметил. Пять. Десять. Двадцать. Их — и наши. Те, кто ночевал во дворе. Борис Ефимович. Фёдор. Наталья Сергеевна. Соня — с синими прядями, в мятой футболке, с телефоном в руке. Денис. Женщина в платке — та, что приходила с ворот.

Они не садились к старшим. Они шли к бассейну. К Ринну.

Сиделись вокруг. Молча. Не трогая его. Просто — рядом. Кругом.

Через десять минут вокруг Ринна сидело сто человек.

Через полчаса — триста.

Мужчина в штатском смотрел на это через решётку. Долго. Потом снова поднял телефон. Говорил. Слушал. Опустил.

Посмотрел на своих. Покачал головой.

Серый автобус постоял у ворот до вечера. Потом уехал.

Ринн так и сидел у бассейна. В центре круга. Спина к воротам. Ногами в воде.

Он ни разу не обернулся.

\* \* \*

Вечером Вера подошла к нему.

Илья видел это с галереи. Как она прошла через круг — люди расступались, — и села рядом с Ринном. На край бассейна. Тоже опустила ноги в воду.

Они сидели долго.

Потом Ринн сказал что-то. Вслух. Длинное — длиннее, чем два слога. Илья не слышал слов.

Вера слушала.

Потом встала. Пошла через круг. К лестнице. Наверх. На галерею. К отцу.

Лицо у неё было бледное.

— Пап, — сказала она. — Он спрашивает. Зачем они сидели вокруг него? Все эти люди?

— Чтобы его не забрали.

— Я так и сказала. — Вера смотрела вниз, на бассейн. — Он говорит — он знает. Он почувствовал. Не ткань — у него теперь стекло, он плохо чувствует ткань. Но — почувствовал. Как они пришли. Каждый.

— И что?

Вера долго молчала.

— Он говорит — «это хуже», — сказала она. — Он говорит: «Если бы меня забрали — я бы знал, что вы такие, как я думаю. А теперь — не знаю. Теперь опять не знаю». — Пауза. — Он говорит: «Вы делаете мне больно тем, что вы разные».

## Глава 4. Ноксвилл

Ребекку Холт выпустили пятнадцатого июля, в четыре часа дня, под залог в двести пятьдесят тысяч долларов.

Залог внесла не она. У неё не было двухсот пятидесяти тысяч — у неё был дом в Пасадене, заложенный за долги адвокатам, старая «Хонда» и пенсионный счёт, который заморозили в феврале вместе со всем остальным. Залог внесли люди. Восемнадцать тысяч человек — через сайт, который сделал кто-то в Орегоне, кого Ребекка никогда не видела. По десять долларов, по пятьдесят, по сто. Один перевод был на двадцать тысяч — от анонима с подписью «За Тайлера и за всех, кто опустил винтовку».

Она вышла из ворот изолятора в Александрии в том же, в чём её туда привезли в январе: в джинсах, в сером свитере, который летом был невыносим, и в кроссовках без шнурков. Шнурки ей вернули в конверте вместе с часами и телефоном. Телефон был разряжен.

У ворот стояла толпа. Человек двести. С плакатами — она не сразу смогла прочитать, глаза отвыкли от расстояний. Потом прочитала. «Спасибо, доктор Холт». «Она сказала правду». «Мы видели». На одном — детский рисунок: две девочки держатся за руки через решётку.

И — с другой стороны улицы, за полицейской лентой, — ещё человек пятьдесят. С другими плакатами. «Изменница». «Агент». И — новое, она такого не видела, когда её сажали: одно слово, крупно, белым по чёрному. «ЛЮДИ».

Тайлер стоял у машины.

В той же бейсболке. Похудевший. С короткой рыжеватой бородой, которой зимой не было. Он увидел её — и не побежал, не замахал руками. Просто открыл дверь машины. Пассажирскую. И ждал.

Она дошла до машины. Он обнял её. Коротко. Крепко. Как обнимал отец.

— Поехали, мэ, — сказал он. — Отец ждёт.

\* \* \*

Ехали всю ночь.

Шестьсот километров — из Вирджинии через Шенандоа, по восемьдесят первой трассе, на юго-запад, к Теннесси. Тайлер вёл. Ребекка сидела рядом, с телефоном на зарядке, и смотрела в окно.

Она полгода не видела окна.

Камера была без окна во двор — только узкая щель под потолком, в которую был виден кусок кирпичной стены и иногда — птица. Двадцать первого июня она не видела ничего. Она узнала через двадцать минут — когда охранник, Гарольд, красный и мокрый, открыл дверь и сказал: «Мэм, там дети». Они поднялись на крышу. Курить. Она не курила двадцать лет. Она взяла у Гарольда сигарету и стояла с ней, незажжённой, на краю крыши, и смотрела вниз — на белый дом в двух кварталах, который полгода был для неё словом в протоколе допроса, — и на детей во дворе того дома.

Сотни.

Она стояла там двадцать минут. До девятнадцати двадцати двух по Москве — до двенадцати двадцати двух по Вашингтону, она потом пересчитала. И потом — ещё час. Гарольд не торопил. Стоял рядом. Курил одну за другой.

Потом отвёл её обратно в камеру. И сказал, закрывая дверь: «Мэм, я подам рапорт. Что вы были на крыше. Это нарушение. Меня уволят». Помолчал. «Пусть увольняют».

Его уволили через неделю.

Сейчас она смотрела в окно машины. На тёмные холмы Шенандоа. На огни ферм. На белые дома — они попадались вдоль трассы каждые полчаса, иногда чаще: на месте старого

торгового центра у Стонтона, на заброшенной лесопилке под Роаноком, на пустыре у развязки. Белые, плавные, светящиеся изнутри мягким янтарным светом. У каждого — машины на обочине. Люди у ворот. Иногда — палатки.

— Это учёт, — сказал Тайлер, не отрывая глаз от дороги. — Палатки. С понедельника. Федеральный. У каждого дома.

— Как идёт?

Тайлер помолчал.

— По-разному, — сказал он. — Где-то нормально. Где-то... — Он не договорил. — В Огайо, под Колумбусом, в субботу — драка. «Люди» пришли к палатке. Сказали — регистрировать мало. Надо выселять. Сказали — у них дети учатся у тех детей. Не говорить «я». — Пауза. — Полиция развела. Двое в больнице. Наших. И один — их. Мальчик. Пятнадцать лет. Ему камнем — в голову.

Ребекка молчала.

— Отец туда ездил, — сказал Тайлер. — В Колумбус. В воскресенье. После проповеди. Сел у ворот. На всю ночь. С ним — человек сорок из прихода. — Он помолчал. — Из прихода ушло двести человек, мэм. С двадцать первого. Половина.

— Куда?

— К «Людям». — Тайлер включил поворотник, обогнал фуру. — Там есть свой пастор. Баптист из Ноксвилла. Тоже Хэнсон, смешно. Не родственник. Он говорит, что это — испытание. Что Бог дал человеку душу — одну, отдельную, — и что те, кто «вместе», — это против замысла. Что они растворяют души. — Он помолчал. — Красиво говорит. Отец говорит — лучше, чем он. Отец говорит — это самое страшное.

\* \* \*

Ноксвилл встретил их утром. Жарой — уже в семь утра двадцать девять градусов, влажных, тяжёлых, как в бане. Туманом над рекой Теннесси. И белым домом.

Он стоял на окраине, у старого машиностроительного завода — на пустом заасфальтированном поле, где раньше была стоянка для грузовиков. Шесть этажей, плавные стены, янтарный свет. Как все. Ребекка видела их сотни — на фотографиях, в отчётах, в протоколах допросов, когда её спрашивали: «Доктор Холт, какую информацию об объектах вы передали иностранным гражданам?» Она видела белый дом в Немо, на берегу, в первый раз — в июне прошлого года, с палубы. Видела в Вашингтоне — с крыши изолятора.

Этот — был другим.

Не сам дом. То, что вокруг.

Ворота были открыты. Настежь. Решётка — отодвинута к стене и, кажется, примотана проволокой, чтобы не закрылась. Перед воротами — никакой полицейской ленты. Никакого кордона. На площадке — столы. Обычные, пластиковые, как на церковных пикниках. На столах — кофейники, пончики в коробках, бутылки с водой. Складные стулья. Тенты от солнца.

И — люди. Наши. Человек сто. Сидели за столами, стояли у ворот, ходили туда и обратно — через ворота, во двор, и обратно.

И — их. Во дворе. У бассейна. На галереях.

Ребекка вышла из машины. Стояла.

Справа, у самого края площадки, стояла палатка. Белая. Федеральная. С генератором. С надписью на брезенте: «Пункт учёта». У палатки — двое в форме. И — очередь. Их. Человек двадцать. Стояли тихо, по одному, как стоят люди, которые не очень понимают, зачем стоят, но решили, что так нужно.

Слева, через дорогу, у забора завода, — ещё одна толпа. Человек тридцать. С плакатами. «ЛЮДИ». «Одна душа — один человек». «Верните наших детей».

Между ними — дорога. И шериф.

Шериф Уэйд Коллинз — пятьдесят восемь лет, двухметровый, с седыми усами и с животом, который не помещался в форменную рубашку, — стоял посреди дороги, прислонившись к своему пикапу, и пил кофе из термоса. Смотрел то направо, то налево.

Он увидел Тайлера. Кивнул.

Увидел Ребекку.

Отлепился от пикапа. Подошёл.

— Доктор Холт, — сказал он. Голос — низкий, тягучий, восточнотеннессийский. — Наслышан. — Он протянул руку. Ребекка пожала. Ладонь у шерифа была огромная, сухая, горячая. — Пастор вас ждёт. Он там, у бассейна. С малышкой.

— Спасибо.

— Не за что. — Шериф посмотрел через дорогу. На плакаты. — Эти — с понедельника. Каждый день. С утра до вечера. — Он отхлебнул кофе. — Не делают ничего. Стоят. Молятся. Иногда поют. — Пауза. — Пока.

— Пока?

Шериф посмотрел на неё. Глаза у него были бледно-голубые, выцветшие, усталые.

— Мэм, я тридцать лет в полиции, — сказал он. — Двадцать — шерифом. Я знаю, как это бывает. Сначала стоят. Потом поют. Потом кто-то один не выдержит. — Он помолчал. — Двадцать первого я открыл эти ворота. Пастор сказал — откройте, и я открыл. Я не знаю, зачем. Не знал тогда, не знаю сейчас. — Пауза. — Знаю только, что закрыть их уже не смогу. Не потому что не дадут. Потому что — не смогу.

Он вернулся к пикапу.

\* \* \*

Пастор Дэниел Хэнсон сидел на краю бассейна.

В рубашке с коротким рукавом — без пиджака, без галстука, впервые за все годы, которые знал его Тайлер. Брюки закатаны до колен. Ноги — в воде.

Рядом с ним сидела Эмили. Семь лет, светлые волосы, заплетённые в две косы. В шортах и в футболке с единорогом. Тоже — ногами в воде.

И рядом с Эмили — девочка.

Ребекка остановилась в двух шагах.

Девочка была того же роста, что Эмили. Тёмноволосая, смуглая, босая, в светлом платье до колен. С огромными тёмными глазами. Она сидела, прижавшись плечом к плечу Эмили, и смотрела на воду. На то, как Эмили болтает ногами — и сама болтала. Точно так же. В том же ритме.

Эмили увидела Тайлера.

— Тай! — Она вскочила, расплескав воду. Побежала. Мокрые ноги шлёпали по каменному полу. Повисла у брата на шее.

Девочка осталась сидеть. Смотрела.

Потом — встала. Медленно подошла. Остановилась перед Ребеккой.

Ребекка не знала, что делать.

Девочка посмотрела на неё снизу вверх. Долго. Тем взглядом — Ребекка его знала по видео, по фотографиям, по рассказам Ильи. «Как будто ты уже рассказал им всё, что хотел. И им интересно, что ты скажешь ещё».

Потом подняла руку. Ладонью вперёд.

Ребекка медленно опустила руку на корточки. Колени хрустнули — полгода в камере. Протянула свою руку. Ладонь — к ладони.

Тепло.

Не температура — что-то другое. Ребекка не знала, как это назвать. Как будто рука девочки была входом куда-то. В комнату, где тихо и тепло, где горит лампа, где кто-то ждёт. Она стояла на пороге этой комнаты — и не входила. Не могла. Не умела. Но — видела свет.

Девочка убрала руку.

— Это Санни, — сказала Эмили. Через плечо брата. — Я её так зову. Санни. Потому что у неё руки как солнышко. — Она слезла с Тайлера. Взяла Санни за руку. — Она не говорит. Ну, по-нашему. Но я её понимаю. Почти всё.

— Почти всё? — спросила Ребекка. Голос у неё был хриплым.

— Ну... — Эмили задумалась. — Когда она грустная — понимаю. Когда смешно — тоже. Когда ей страшно — тоже. — Пауза. — Ей сейчас страшно, — сказала она вдруг. Серьёзно. — Из-за тех. — Она кивнула на дорогу. На плакаты. — Она говорит, они кричат. Не голосом. Внутри. Она говорит — внутри они очень громко кричат.

\* \* \*

Пастор Хэнсон обнял Ребекку. Долго. Потом отстранился, держа за плечи. Посмотрел ей в лицо.

— Вы похудели, доктор Холт.

— Вы тоже.

— Я — меньше. — Пастор улыбнулся. Устало. — Я ем их хлеб. Каждый день. С двадцать первого. — Он помолчал. — Половина моего прихода считает, что я продал душу. Другая половина — что я её наконец нашёл. Я сам — не знаю. Знаю, что хлеб вкусный. И что сплю лучше, чем за последние двадцать лет.

Они сидели за пластиковым столом у ворот. Под тентом. Пастор, Ребекка, Тайлер. Шериф Коллинз — чуть в стороне, на своём складном стуле, с термосом. Эмили и Санни — у бассейна, снова ногами в воде.

Ребекка открыла телефон. Он зарядился в машине. Сто сорок три письма. Восемьдесят — от адвокатов. Двадцать — от журналистов. Пятнадцать — от незнакомых людей. Одно — от Ильи.

Она открыла его ещё в машине. Прочитала. Перечитала. Сидела потом молча — до самого Ноксвилла. Тайлер не спрашивал.

Сейчас она открыла снова. Повернула телефон к пастору.

Он читал долго. Губы шевелились — как будто он читал вслух, про себя. Потом поднял голову.

— Я не понимаю половины слов, — сказал он.

— Я понимаю все, — сказала Ребекка. — Это хуже.

Пастор положил телефон на стол.

— Объясните мне, — попросил он. — Как Эмили бы объяснили.

Ребекка подумала.

— Представьте, — сказала она, — что два мира — это два листа бумаги. Лежат один на другом. В одном месте — склеились. Не клеем. Они держатся, потому что оба дрожат. В одном ритме. Как... — Она поискала. — Как два человека, которые держатся за руки и идут в ногу. Пока идут в ногу — держатся. Если один начнёт идти не в ногу — руки расцепятся.

— Так.

— Мы бурим. Каждая скважина — это как если бы кто-то толкал одного из этих двоих. Сбивал с шага. Они сбиваются, потом снова попадают в ногу. Сбиваются — попадают. Но с каждым разом попадать всё труднее. Всё дольше. — Ребекка помолчала. — Илья — русский астроном, я вам про него рассказывала — пишет, что они посчитали. Сколько ещё толчков можно выдержать. — Пауза. — До весны.

— А потом?

— А потом руки расцепятся.

— И что будет?

Ребекка посмотрела на бассейн. На Эмили и Санни.

— Илья пишет, — сказала она, — что энергии хватит, чтобы расплавить всю поверхность Земли. Двадцать раз.

Пастор Хэнсон долго молчал.

Шериф Коллинз на своём стуле перестал пить кофе.

— Он может ошибаться, — сказал пастор наконец.

— Может. — Ребекка кивнула. — Он сам пишет: проверьте. Не верьте мне — посчитайте сами. — Она взяла телефон. — Он прислал метод. И данные. Я посчитаю.

— Чем?

Ребекка оглянулась. На двор. На галереи.

На стене у ворот, у самого входа, висела коробочка. Маленькая, серая, пластиковая, размером с пачку сигарет. С зелёным огоньком. Под ней — провод к роутеру. И наклейка — детским почерком, фломастером: «Эмили и Санни. Ноксвилл».

— Этим, — сказала Ребекка.

\* \* \*

Она считала три дня.

В приходском доме, в комнате для воскресной школы, — Тайлер привёз туда её ноутбук от друзей в Пасадене, которые сохранили его, когда изъяли всё остальное. На стенах — детские рисунки. Ноев ковчег. Давид с пращой. Иисус с детьми. И — новые, с июня: белые дома, бассейны, тёмноволосые дети. Две девочки, которые держатся за руки через решётку. Девочка с ладонью, от которой идут жёлтые лучи.

Она взяла данные американской части сети Петра Андреевича — их было сорок одна тысяча коробочек, от Мэна до Калифорнии. Не все — только те, что стояли не меньше года. Двенадцать тысяч. Взяла метод Остроумовой. Переписала программу — свою, с нуля, на другом языке, не глядя в код из письма Ильи. Чтобы ошибки, если они есть, не повторились.

Считала.

На второй день пришёл шериф Коллинз. Постучал в дверь. Вошёл, сняв шляпу. Сел на детский стульчик у стены — тот прогнулся, но выдержал.

— Не мешаю?

— Нет.

Он сидел и смотрел, как она работает. Долго. Час. Ничего не говорил.

Потом спросил:

— Доктор Холт, вы верите в Бога?

Ребекка не отрывалась от экрана.

— Я астроном, шериф.

— Это не ответ.

— Нет. — Она помолчала. — Не знаю. Раньше — нет. Сейчас... — Она откинулась на стуле. Посмотрела на рисунки на стене. — Сейчас я видела вещи, которые не умею объяснить. Я видела, как девочка кладёт ладонь — и я чувствую тепло, которого не может быть. Я видела, как Земля растёт. Как Солнце тяжелеет. Как звезда гаснет за двести лет до того, как должна. — Пауза. — Я не знаю, Бог это или физика, которую мы ещё не понимаем. Может, это одно и то же.

Шериф кивнул. Как будто она ответила.

— Мой дед, — сказал он, — был в Ок-Ридже. В сорок третьем. Там, в сорока километрах отсюда. Обогащал уран. Для бомбы. Не знал, для чего. Никто не знал. Знали — секретно, важно, для победы. — Он помолчал. — Потом, в августе сорок пятого, узнал. Из газет. Про Хиросиму. — Пауза. — Он после этого сорок лет ходил в церковь каждое воскресенье. Сидел в последнем ряду. Ни с кем не разговаривал. Отец говорил — он молился за тех, кого не видел.

Ребекка молчала.

— Я подумал, — сказал шериф, — что вот это, что вы считаете, — это как его уран. Мы бурим. Нам говорят — важно, для победы, для экономики. Мы не видим, для чего. — Он покрутил шляпу в руках. — А потом кто-нибудь узнает из газет.

\* \* \*

На третий день она закончила.

Был вечер. Солнце садилось за холмы Камберленда — красное, огромное, в дымке. За окном воскресной школы — двор приходского дома, пустой. Из открытого окна церкви напротив — пение. Вечерняя служба. Человек двадцать, не больше. Раньше, говорил Тайлер, на вечерней было двести.

Ребекка смотрела на экран.

Кривая. Её кривая. Двенадцать тысяч американских коробочек, её программа, её руки.

Один и тридцать девять сотых.

У Остроумовой было — один и сорок две. Две недели назад. Две недели — минус три сотых. Сходится.

Она провела прямую.

Пересечение с единицей — восьмое марта. Плюс-минус пять недель. Шире, чем у Остроумовой, — меньше данных, больше шума. Но — то же. Весна. Ранняя весна.

Ребекка сидела и смотрела на экран.

Потом взяла телефон. Написала Илье. Одну строку.

«1,39. Март. Ты прав. Мне очень жаль. Р.»

Отправила.

Потом закрыла ноутбук. Вышла из комнаты. Прошла через пустой двор. Через улицу — к церкви. Вошла.

Пастор Хэнсон стоял у кафедры. Двадцать человек в зале на четыреста мест. Пели — старый гимн, Ребекка его помнила с детства, из Миссури, из бабушкиной церкви. «Пребуди со мной». Медленно, нестройно, вразнобой.

В последнем ряду, у стены, сидел шериф Коллинз. Без шляпы. Не пел. Смотрел перед собой.

Ребекка села рядом с ним.

Он посмотрел на неё. На её лицо.

Ничего не спросил.

Они сидели рядом до конца службы. Двое. В последнем ряду. Как сидел когда-то его дед.

\* \* \*

В ту же ночь, в половине третьего, кто-то бросил бутылку с бензином через забор старого завода.

Не в белый дом — не долетела. В палатку пункта учёта. Федеральную. Пустую — персонал уезжал на ночь.

Палатка вспыхнула. Генератор — рядом — тоже. Пламя поднялось метров на пять. Осветило двор. Галереи. Бассейн.

Их дети проснулись. Все — одновременно. Ребекка, ночевавшая в машине у ворот, проснулась от этого — не от огня, не от треска. От того, как во дворе стало тихо. Вдруг. Совсем. Как будто сто человек одновременно задержали дыхание.

Потом — один голос. Детский. Тонкий. Плач.

Потом — второй.

Ребекка выскочила из машины.

Шериф Коллинз уже был там — он ночевал в своём пикапе, через дорогу. Бежал с огне-тушителем. Тяжело, грузно, задыхаясь. Тайлер — следом. Ещё кто-то — из наших, кто спал под тентами.

Палатку потушили за десять минут. Генератор — нет. Он догорал, чадя чёрным, вонючим дымом.

На той стороне дороги, у забора завода, никого не было. Только плакаты — прислонённые к забору, брошенные. «ЛЮДИ». «Одна душа — один человек».

Ребекка стояла у ворот. Смотрела во двор.

Их дети стояли у бассейна. Все. Человек сорок. Держались за руки. Кругом. Как вечером двадцать первого. И плакали — тихо, все вместе, в один голос.

В центре круга стояла Санни.

Она не плакала. Она смотрела на ворота. На огонь. На Ребекку.

Потом — на забор завода. Туда, где никого не было.

И Ребекка поняла — не умом, чем-то другим, тем, что было на пороге тёплой комнаты, — что Санни видит того, кто бросил бутылку. Не глазами. Как-то иначе. Видит, где он сейчас. Видит, что он чувствует.

И — что ему тоже страшно.

Эмили выбежала из приходского дома — босая, в пижаме, с растрёпанными косами. Побежала к воротам. Шериф поймал её на полпути.

— Пусти! — кричала Эмили. — Пусти, там Санни! Ей больно! Ей больно!

— Ей не больно, малышка, — сказал шериф. — Не горело там, где она. Не горело.

Эмили перестала вырываться. Посмотрела на него. Снизу вверх. Мокрым, злым, серьёзным лицом.

— Ей больно, — сказала она. — Не там, где огонь. Внутри. — Она сглотнула. — Ей больно за того, кто бросил.

## Глава 5. Пекин

Сяо Чэну было двадцать три года, и он никогда в жизни не держал в руках логарифмическую линейку.

Профессор Лю держал её так, как держат что-то живое. Осторожно, двумя пальцами за край. Бамбуковая, пожелтевшая, с облупившимися цифрами, в картонном футляре с надписью тушью: «Пекинский университет, физический факультет, 1971». Отцовская. Лю попросил её у жены в первое же свидание — в апреле, когда свидания ещё разрешали, — и жена принесла. Охрана повертела линейку в руках, просветила, посоветовалась — и разрешила. Решили — безобидно. Старая игрушка старого человека.

Ноутбука у Лю не было с марта. Телефона — тоже. Бумагу давали — пачку в неделю, по счёту, с подписью. Ручки — две. Карандаши — сколько угодно.

— Смотри, — сказал Лю. — Вот так. Это — умножение. Сдвигаешь бегунок. Здесь — первое число. Здесь — второе. Читаешь — здесь.

Сяо Чэн смотрел.

Он сидел на полу комнаты, по-турецки, напротив профессора. Не должен был — по инструкции охранник не садится, не разговаривает, не передаёт ничего, кроме еды и бумаги. Сяо Чэн нарушал инструкцию с двадцать первого июня. Каждый день. По два-три часа.

Никто не говорил ему, что так нельзя. Начальник смены — капитан Ма — видел. Молчал. Двадцать первого капитан Ма тоже стоял у окна в коридоре. Тоже видел детей на стене.

— Почему не калькулятор? — спросил Сяо Чэн.

— Калькулятор мне не дают. — Лю улыбнулся. — А линейку — дают. Потому что не знают, что это такое. Думают — музейная вещь. — Он сдвинул бегунок. — Твой калькулятор быстрее. Зато линейка учит думать. Она не даёт тебе лишних знаков. Только два, три. Ты сам должен понять, где запятая. Сам должен знать — тысяча это или миллион. — Он посмотрел на Сяо Чэна поверх очков. — Это полезно. Особенно сейчас. Когда все читают в новостях числа с десяти знаками и не понимают, где запятая.

\* \* \*

Распечатки Сяо Чэн принёс в среду.

Тридцать листов, сложенных вчетверо, во внутреннем кармане форменной куртки. Он распечатал их в интернет-кафе у станции метро «Тяньтунъюань», в два часа ночи, после смены, заплатив наличными. С сайта, адрес которого Лю написал ему на клочке бумаги ещё в понедельник. Сайт открылся не сразу — пришлось искать обходной путь, знакомый парень из общежития подсказал, как. Сяо Чэн не знал, что это за сайт. Карта мира. Точки. Много точек. И над каждой — строка, кривая, как кардиограмма.

— Это сеть одного русского инженера, — объяснил Лю. — Петра Зубкова. Ты его не знаешь. Я тоже не знаю — никогда не видел. Он придумал, как сделать сейсмограф из платы за двадцать юаней. И выложил чертёж. Год назад. Теперь их — почти двести тысяч. По всему миру.

— И у нас?

— И у нас. — Лю развернул распечатку. Провёл пальцем по карте. — Смотри. Здесь, в Хэбэе, — триста. В Пекине — восемьсот. В Шанхае — тысяча двести. Люди ставят. Сами. Им никто не велел.

— Зачем?

Лю долго не отвечал. Разглаживал листы на полу. Аккуратно, один за другим.

— Чтобы слышать, — сказал он наконец. — Ты слышал, как они говорят? Дети на стене?

Сяо Чэн кивнул. Он слышал. Не ушами. Тем, что внутри. Каждый вечер, когда они приходили — двадцать, тридцать детей, тёмноволосых, в светлом, — и садились на стену напротив

окон. И сидели до темноты. И Сяо Чэн, стоя в коридоре у окна, чувствовал — что-то. Тепло. Как будто кто-то положил руку на плечо.

Он никому не говорил. Только профессору.

— Вот, — сказал Лю. — Им — дети. А нам, кто не слышит, — коробочка. Это тоже способ слышать. Неуклюжий. Медленный. Но — способ.

\* \* \*

Письмо от русского пришло тоже через Сяо Чэна.

Не на старый адрес — старый адрес Лю был давно закрыт, вместе со всем остальным. Русский, видимо, понял это — и отправил ещё раз, на другой. На адрес кафедры в Пекинском университете, где Лю двадцать лет назад читал курс звёздной спектроскопии. Секретарь кафедры, госпожа Ду — шестьдесят лет, пенсия через год, — распечатала, положила в конверт, конверт отдала жене Лю. Жена — Сяо Чэну, на улице, у проходной, в пакете с яблоками.

Сяо Чэн передал вместе с ужином.

Лю прочитал письмо при нём. Один раз. Потом сложил и спрятал под матрас.

Потом сидел долго. Глядя в окно. На кирпичную стену. На пустой её верх — дети ещё не пришли, было рано.

— Профессор? — спросил Сяо Чэн.

— Он просит проверить, — сказал Лю. — Не верить ему. Посчитать самому.

— Что посчитать?

Лю повернулся к нему.

— Сколько у нас осталось, — сказал он.

\* \* \*

Считали неделю.

Лю — карандашом, на бумаге из еженедельной пачки, мелким, бисерным почерком, с двух сторон листа. Линейкой. Таблицами логарифмов, которые помнил наизусть — частично, а остальное восстанавливал разложением в ряд, тут же, на полях. Сяо Чэн — на своём телефоне. В коридоре, на подоконнике, в перерывах между обходами. Калькулятор. Иногда — электронная таблица, которую Лю научил его делать.

Ван Цзюнь — в соседней комнате — получал листы через Сяо Чэна. Проверял. Возвращал с пометками. Ван был инженером. Тем, кто вынес китайский сейф — данные бурения на Немо, сорок страниц, — и подписался полным именем, «чтобы не искали других». Он считал быстрее Лю. Он не делал ошибок.

Чжао Минь — в третьей комнате — считала геохимию. Решётку. Её она видела своими глазами, в керне, на Немо, в ноябре. Шестиугольники на пяти километрах. Жилки, которые шли не по трещинам. Она рисовала схему узлов — по памяти. Для Ветровой, которую никогда не видела. Сяо Чэн относил рисунки Лю. Лю сравнивал с тем, что прислал русский.

Схемы совпадали.

На пятый день Сяо Чэн пришёл на смену — и Лю не поднял головы от бумаги.

Он сидел на полу, окружённый листами. Сотня листов. Двести. Белые, исписанные с двух сторон, разложенные веером. В центре — один. Чистый. С одной кривой. И одной горизонтальной чертой.

— Профессор?

Лю не отвечал.

Сяо Чэн присел рядом. Посмотрел на лист.

Он не понимал, что на нём. Кривая шла вниз. Медленно. К черте. Над кривой — цифры, мелко. Внизу — ещё цифры. Даты.

И одна цифра — обведённая. Дважды. Трижды. Глубоко, до дыр в бумаге.

«1,40».

И рядом — по-китайски, торопливо, кривыми иероглифами:

«Весна».

\* \* \*

— Объясните мне, — попросил Сяо Чэн.

Был вечер. Дети на стене — пришли. Тридцать. Сидели, свесив ноги. Смотрели в окна. Лю сидел у окна. Смотрел на них.

— Ты видел, как танцуют на площадях? — спросил он. — Старушки. Вечером. В каждом городе. На каждой площади. Сто старушек, одна музыка. Все — в такт.

— Видел. Моя бабушка ходит.

— Если музыка громкая — все в такт. Даже те, кто плохо слышит. Они смотрят на соседок — и попадают. Если музыку сделать тише — сначала ничего. Все ещё в такт. Потом ещё тише. Ещё. А потом — вдруг — кто-то сбился. И соседка сбилась, глядя на неё. И ещё одна. И через минуту — сто старушек, каждая сама по себе. Хаос. — Лю помолчал. — И если теперь сделать музыку громче — снова как было, — они не соберутся. Уже нет. Каждая уже танцует своё. Нужно сделать музыку очень, очень громкой. Гораздо громче, чем было.

Сяо Чэн слушал.

— Земля — это площадь, — сказал Лю. — Два мира — это старушки. Музыка — то, что их держит вместе. Каждая наша скважина делает музыку тише. — Он кивнул на лист с кривой. — Это — громкость. Она падает. Вот здесь — порог. Когда старушки начнут сбиваться. Это — весной.

— И тогда — хаос.

— И тогда — хаос. — Лю посмотрел на детей на стене. — Только не старушек. Земли.

Сяо Чэн молчал долго.

— Что будет? — спросил он наконец.

Лю сказал.

Не всё — коротко. Энергия. Кора. Жидкий камень. Как четыре с половиной миллиарда лет назад.

Сяо Чэн сидел и смотрел на свои руки.

— Моя бабушка, — сказал он. — Она в Тайюане. Ей восемьдесят два. Она ходит на площадь каждый вечер.

— Я знаю, — сказал Лю. — Ты говорил.

— Она не знает.

— Никто не знает.

— А если бы знали?

Лю повернулся к нему.

— Сяо Чэн, — сказал он. — Двадцать первого июня ты сказал мне: «Нам сказали — объекты. Нам сказали — угроза. Я видел только стену». Помнишь?

— Помню.

— А теперь ты видишь детей на стене.

— Вижу.

— Что изменилось? Стена та же. Дети — те же. Они сидели там сто пятнадцать дней. Ты их не видел.

Сяо Чэн молчал.

— Изменилось то, что тебе показали, — сказал Лю. — Не рассказали. Показали. Сто пятнадцать дней я тебе мог рассказывать — ты бы не поверил. А двадцать первого — увидел.

Он взял лист с кривой. Протянул Сяо Чэну.

— Это — то же самое, — сказал он. — Им можно рассказывать. Мы рассказывали. Год. Ребенка. Русский. Я. Мы все. — Пауза. — Им надо показать.

— Как?

— Не знаю, — сказал Лю. — Пока не знаю.

\* \* \*

В пятницу к Лю пришли.

Не охрана. Не следователь — следователя, вежливого, в очках, Лю не видел с мая. Пришёл человек из Академии наук. Пан Шэнли. Лю его знал — шапочно, по совещаниям. Заместитель председателя отделения наук о Земле. Шестьдесят лет. Безупречный костюм, седые виски, усталое, умное лицо. Партийный — давно. Учёный — когда-то, хороший, геофизик. Потом — администратор. Тоже хороший.

Пан сел на стул у стены. Единственный в комнате. Лю — на кровать.

Сяо Чэн стоял у двери. По инструкции.

— Профессор Лю, — сказал Пан. — Я пришёл неофициально.

— Я понимаю.

— Вы отправили письмо. — Пан не спрашивал. — На кафедру. Через секретаря Ду. Секретарь Ду — честная женщина. Она отправила копию в отдел безопасности университета. Как положено. — Пауза. — Отдел безопасности переслал нам. В Академию. Не в органы. Нам. Это — тоже как положено. Научное содержание. — Он помолчал. — Я прочитал.

Лю ждал.

— Я геофизик, профессор Лю, — сказал Пан. — Был. Тридцать лет назад. Я знаю, что такое критическое замедление. Я защищал диссертацию по предвестникам землетрясений. Там то же самое: перед большим толчком отклик системы на малые возмущения становится медленнее. — Он помолчал. — Я понимаю, что вы посчитали.

— Вы проверили?

— Мои люди проверили. Три группы. Независимо. — Пан посмотрел на свои руки. — Один и тридцать восемь. Один и сорок одна. Один и тридцать девять. Весна.

Тишина.

Сяо Чэн у двери перестал дышать.

— Тогда — что вы хотите от меня? — спросил Лю.

Пан долго молчал.

— Я хочу, чтобы вы поняли, — сказал он, — как это выглядит сверху. Не с моего стула. С самого верха. — Он поднял глаза. — Профессор Лю. Если мы остановим бурение — одни. А американцы — нет. И русские — нет. И французы. Что будет?

Лю молчал.

— Будет вот что, — сказал Пан. — Если ваша модель верна — мы всё равно погибнем. Потому что они не остановятся. Наша остановка — ничего не изменит. Одна скважина из пяти. Связь будет падать медленнее — но всё равно упадёт. А если ваша модель неверна — мы проиграем. Немо. Арктиду. Лемурию. Всё. На сто лет вперёд. Платина, литий, редкие земли — им. Нам — ничего. — Он помолчал. — Понимаете? В обоих случаях — нам невыгодно останавливаться первыми.

— Дилемма заключённого, — сказал Лю.

— Дилемма заключённого. — Пан кивнул. — Вы её знаете. Её все знают. Двое в разных камерах. Если оба молчат — оба выходят. Если один говорит — он выходит, второй сидит. Если оба говорят — оба сидят. И каждый думает: что бы ни сделал второй, мне выгоднее говорить. — Он помолчал. — Они все так думают, профессор Лю. Наверху. Не только у нас. Везде. Я был на трёх международных совещаниях за этот год. Я видел их лица. Американцев. Русских. Французов. Британцев. — Пауза. — У всех — одно лицо.

Лю смотрел на него.

— Вы сами — что думаете? — спросил он. — Не наверху. Вы.

Пан Шэнли долго не отвечал.

Потом встал. Подошёл к окну. Посмотрел на стену. На детей — они уже пришли, сидели в ряд, свесив ноги.

Одна девочка — та, что махала Лю двадцать первого, — посмотрела на Пана.

Пан смотрел на неё.

— У меня внучка, — сказал он. Тихо. Не оборачиваясь. — Шесть лет. В Шанхае. В апреле, когда у них во дворе появился такой дом, — она перестала спать. Совсем. Неделю. Плакала по ночам. Врачи не понимали. Потом — стала спать. Сама. — Пауза. — Дочь мне потом сказала: она говорит, что ей девочка оттуда пела. Чтобы спала.

Он смотрел на стену.

— Я думаю, профессор Лю, — сказал он, — что это дилемма, в которой нет камер. Мы все — в одной. — Он помолчал. — Но я не знаю, как им это показать. Наверху. Они не видят детей на стене. У них окна — на другую сторону.

\* \* \*

Пан ушёл через час.

Перед уходом он остановился у двери. Посмотрел на Сяо Чэна. Долго. Сяо Чэн стоял по стойке «смирно» и чувствовал, как по спине течёт пот.

— Охранник, — сказал Пан.

— Слушаю.

— Распечатки с иностранного сайта, которые вы приносите заключённому, — Пан говорил ровно, без выражения, — являются нарушением режима. Вам это известно?

Сяо Чэн молчал.

— Мне это известно, — сказал Пан. — Капитану Ма это известно. Отделу безопасности университета это известно. — Пауза. — Следующие распечатки, пожалуйста, приносите в двух экземплярах. Второй — для меня. Через капитана Ма.

Он вышел.

Сяо Чэн стоял у двери. Не двигался.

Лю смотрел на него с кровати. И — впервые за много месяцев — смеялся. Беззвучно, закрыв лицо ладонями, вздрагивая плечами.

\* \* \*

В ту ночь Лю не спал.

Сидел у окна. Смотрел на стену. Дети ушли в десять — как всегда, одновременно, все вместе, как будто кто-то их позвал. Стена была пустой. Над ней — небо. Пекинское, ночное, оранжевое от городских огней. Ни одной звезды.

Он не видел звёзд с марта.

Он думал о Пανε. О его внучке, которой пели. О «дилемме, в которой нет камер». О лицах на совещаниях — одинаковых.

О том, что русский прав: надо показать.

Он думал: как показать связь? Её нельзя увидеть. Её нельзя потрогать. Это — число. Один и сорок. Отношение двух величин, каждая из которых — тоже отношение. Абстракция третьего порядка. Её поймут физики. Математики. Может быть, геофизики, как Пан. Больше — никто.

Людам нужно не число. Людам нужно — увидеть.

Как стену. Как детей на ней.

Он думал до утра.

В пять сорок одну по Москве — в десять сорок одну по Пекину — он вдруг вскочил. Схватил карандаш. Лист. Стал рисовать — быстро, криво, торопливо.

Круг. Точки на круге. Много точек. Стрелки от каждой — в разные стороны. Потом — то же, но стрелки почти в одну сторону. Потом — третий круг. Стрелки снова разбегаются.

Под первым кругом написал: «2028». Под вторым — «21 июня». Под третьим — «Весна». Это было не то. Слишком сложно. Слишком — физика.

Он скомкал лист. Взял новый.

Сидел над ним долго. Потом — нарисовал одну вещь. Совсем простую.  
Часы.

Циферблат. Без цифр. Одна стрелка. И красный сектор — в верхней части. Как на манометре. Как на датчике давления, который он видел в детстве на заводе у отца.

Стрелка — у самого края красного сектора.

Подписал: «Если бы вы могли это видеть».

Посмотрел на рисунок. Долго.

Потом сложил вчетверо. Отложил в сторону — для Сяо Чэна. Для второго экземпляра. Для Пана. Для русского — если получится передать.

Для Петра Зубкова, которого он никогда не видел, — у которого двести тысяч коробочек. И у которого, может быть, получится сделать так, чтобы эту стрелку видели все.

## Глава 6. Стекло

Ринн ушёл из Лосинового острова ночью шестнадцатого июля, когда круг вокруг бассейна наконец разошёлся спать.

Никто его не держал. Никто не спросил, куда. Так было всегда: у них не спрашивали. Если человек уходит — значит, ему нужно уйти. Если нужно будет вернуться — вернётся. Ткань покажет, где он. Ткань покажет, если ему плохо.

Только Ринна ткань не показывала.

Он шёл по улице одиноких — пустой, ночной, светлой от жёлтых фонарей, которые одинокие ставят вдоль каждой дороги, потому что боятся темноты, — и думал о том, что это первая ночь в его жизни, когда его никто не чувствует. Ни сестра. Ни Лиэн. Ни маленькая — Дыхание-на-стекле, которая обычно, даже во сне, тянулась к нему, как росток тянется к окну. Ни старшие.

Никто.

Он держал стекло.

Это было не трудно. Уже не трудно. В апреле — было. В апреле он учился этому, как учатся ходить после болезни: каждый шаг — усилие, каждое мгновение — страх упасть. Стекло падало. Ткань врывалась внутрь — вся, сразу, со всеми, кто горел в домах на юге, со всеми, кто задыхался под сводами, со всеми детьми, которых не донесли до склонов на Немо, — и он падал на пол и лежал, пока не мог снова поднять стекло. Потом — научился. Держать. Не думая. Как одинокие держат своё — всегда, с рождения, даже во сне.

Теперь — легко.

Теперь — тихо.

Он шёл и слушал тишину. Свои шаги. Своё дыхание. Свои мысли — только свои, ничьи больше, — которые звучали внутри странно, гулко, как голос в пустом зале. Раньше мысль была как ручей: течёт, смешивается с другими, уходит куда-то, возвращается чужой, тёплой, изменённой. Теперь — мысль была как камень. Брошенный в колодец. Падает — и ударяется о дно. Своё дно. Одно.

Он думал: вот так они живут. Всегда.

И ещё думал — и это была новая мысль, она пришла недавно, в последние дни, и он не знал, что с ней делать: им, наверное, тоже страшно. Всё время. С рождения. Потому что — вот так.

\* \* \*

Дом стоял через два квартала. У старой фабрики одиноких — пустой, с выбитыми окнами, с ржавыми воротами, с травой, которая росла сквозь бетон.

Дом был как все дома. Шесть этажей. Круглый двор. Бассейн. Чаши. Галереи.

Огня в чашах не было.

Ринн вошёл во двор. Ворота были открыты — одинокие со своими машинами и светлыми фонарями стояли здесь до двадцать второго, потом ушли. Как ушли от всех домов, когда подполковник у дома Лиэна снял шлем.

Во дворе сидели.

Двести. Может, больше — Ринн не мог посчитать, он их не чувствовал. Только видел. Глазами. Как одинокие. Это было странно — видеть и не чувствовать. Как смотреть на огонь сквозь лёд. Видишь, что горит, — и не греет.

Они сидели по одному. Не кругом — по одному. У стен. На галереях. На краю бассейна. Каждый — на своём месте. Каждый — за своим стеклом.

Молодые. Все. Самому старшему — может быть, тридцать. Самому младшему — Ринн видел его у чаши, мальчика лет четырнадцати, худого, с обожжённой рукой, — четырнадцать.

Мальчик был с юга. Из Марселя. Ринн знал его историю — не через ткань, через слова. Через знаки. Теперь они рассказывали друг другу через знаки — так научились. Мальчик был на галерее, когда одинокие пришли с баллонами. Он выпрыгнул. Со второго этажа. Обжёг руку. Его мать — нет.

Он закрылся в ту же ночь. Без учёбы. Сразу. Как закрывается рана.

Ринн сел у стены. Рядом с мальчиком.

Мальчик посмотрел на него. Ничего не сказал. Не показал. Ничего.

Это было правильно. Здесь так. Здесь никто никому ничего не показывает, если не захочет.

Они сидели рядом. Каждый — сам.

\* \* \*

На рассвете пришла Та-что-помнит-реки.

Ринн её не почувствовал — увидел. Как она входит в ворота. Медленно. Старая — очень старая, старше всех, кого он знал. С седыми косами до пояса. Босая. В светлом, которое было когда-то белым.

Она не вошла во двор. Остановилась у ворот. Села на землю — прямо на бетон, у ржавой решётки одиноких. Положила руки на колени.

И стала держать.

Ринн видел это. Видел, как её лицо становится неподвижным. Как глаза закрываются. Как дыхание замедляется — медленно, медленно, пока не станет таким, что почти нельзя заметить.

Он знал, что она делает. Все знали. С детства. Те, кто держит, — садятся на землю и слушают корни. Нити, которые тянутся под землёй от дома к дому, от города к городу, от одного края земли до другого. И если нить дрожит — держат её. Теплом. Вниманием. Собой.

Под этим домом — нить дрожала. Ринн не чувствовал этого. Но — знал. Потому что двести человек в этом дворе не держали. Не грели. Не отдавали ничего вниз, в корни, как отдаёт каждый, кто живёт на земле и не закрыт. Двести дыр.

Та-что-помнит-реки пришла закрыть дыры собой.

Она сидела у ворот весь день.

Ринн смотрел на неё весь день. Из-за стекла.

К вечеру он встал. Пошёл к воротам. Остановился перед ней.

Она открыла глаза.

Посмотрела на него.

Он не почувствовал её взгляда — только увидел. Глаза — старые, глубокие, с тем выражением. «Ты уже рассказал всё, что хотел. Мне интересно, что ты скажешь ещё».

Он ничего не хотел рассказывать.

Но стоял.

Долго.

Потом — сам не знал, зачем, — приоткрыл. Щель. Как в апреле, для Лиэна. Узкую. Чтобы только одно прошло. Туда — и обратно.

Туда он послал вопрос.

Вопрос был простой. Он думал его три месяца.

«Вы держите — и гаснете. Мы закрылись — и живём. Кто прав?»

Она ответила сразу. Как будто ждала.

Ответ пришёл не словами — у неё не было слов, она была слишком старой для знаков. Пришёл — картиной. Как всегда у старших.

Река.

Широкая. Медленная. Где-то на севере, где у одиноких — их город, который они называют Ярославлем. Река, которую она помнила с детства. Которая текла там всегда — тысячи лет, десятки тысяч. Которую держали — те, кто был до неё. И до них. И до них.

И — ещё дальше. Глубже. Там, где начиналась память ткани. Где были не реки — трещины. Огонь. Земля, которая дрожит. Пепел. Холод. Смерть — не одного, не тысячи — всех. Почти всех.

Тогда — давно, так давно, что даже ткань помнит это смутно, как сон, — их земля тоже дрожала. Как сейчас у одиноких. Трескалась, выпускала огонь. И тогда — те, кто выжил, — сели на землю. Все. Вместе. И стали держать. Не зная, получится ли. Не зная, хватит ли.

Хватило.

С тех пор — держат. Всегда. Каждый — немного, сам того не замечая, просто живя на земле, просто будучи открытым. А те, кто умеет лучше, — больше.

С тех пор — корни.

Картина кончилась.

Ринн стоял, держа щель.

И тогда — пришло ещё одно. Короткое. Не картина. Почти знак.

«Живые — не всегда правы. Но тех, кто не держит, — однажды не будет вовсе. Ни правых, ни неправых».

Ринн закрыл щель.

Стекло встало на место. Легко. Тихо.

Он вернулся к стене. Сел рядом с мальчиком из Марселя.

Та-что-помнит-реки закрыла глаза. И продолжала держать.

\* \* \*

На третий день один из них сделал дверь.

Не Ринн. Другой. Высокий, широкоплечий, с короткой бородой — он пришёл с Немо, с восточного берега, из тех тысячи девятисот, что дошли до склонов. Он не говорил, как его чувствовали раньше. Никто здесь не говорил. Здесь у каждого было новое имя — знаковое, своё, придуманное самим. Как у одиноких. Его звали — Ринн записал знаками, как мог, — «Тот-кто-видел-огонь».

Он взял камень. Плоский, тяжёлый, из той же светлой материи, что и стены. Вынул его из ниши — он лежал там, как все камни в нишах, тёплый, гладкий, для того, чтобы на него ставили чашки. Принёс к двери своей комнаты на первом этаже.

И вырезал в полу перед дверью — желобок. Узкий, длинный. Чем — Ринн не видел. Может быть, руками: когда долго держишь камень и думаешь о нём, камень становится мягким. Это умели все. Так делали ниши, полки, скамьи. Так делали чаши.

Камень встал в желобок. Ребром. И закрыл проём.

Тот-кто-видел-огонь вошёл в комнату. Изнутри — задвинул камень до конца.

Проёма больше не было.

Двести человек во дворе смотрели на это. Молча.

Ринн смотрел.

Он знал, что видит. Он видел такое у одиноких — везде, в каждом их доме. Они называли это «дверь» и «замок». Это то, что отделяет одного от всех. То, что можно закрыть — и никто не войдёт, даже если очень захочет. Даже если там, внутри, тебе плохо, и ты кричишь, и тебе нужна рука.

У них такого не было никогда.

Никогда — за всю память ткани.

Ринн сидел у стены и смотрел на камень в желобке. На светлую стену, где раньше был проём. И чувствовал — не через ткань, через своё, одинокое, новое, — как внутри у него что-то сжимается. Холодное. Острое.

Он не знал, как это называется.

Потом вспомнил. Вера говорила это слово. Объясняла, когда они ещё не видели друг друга, — через Аю, через тетрадь.

Тревога.

\* \* \*

Вечером того же дня мальчик из Марсея сказал — знаками, на бетоне, обломком кирпича:

«Они придут сюда тоже. Как туда. С баллонами. С машинами».

Никто не ответил.

Мальчик написал ниже:

«Мы видим их теперь. Они видят нас. Это хуже. Теперь они могут целиться».

Тот-кто-видел-огонь подошёл. Прочитал. Взял у мальчика кирпич.

Написал — медленно, неровно, крупно:

«Песок может стать мягким».

Двор замер.

Ринн смотрел на эти знаки.

Все знали, что это значит. Песок под ногами, камень под домами, земля под корнями — всё это можно сделать мягким. Как камень в нише, когда долго о нём думаешь. Только — больше. Глубже. Если многие думают вместе. Если держат не для того, чтобы держалось, — а наоборот.

Так не делал никто. Никогда. Такого — не было в ткани. Как не было двери.

Тот-кто-видел-огонь стоял над знаками. Смотрел на двор.

«Под их машинами, — написал он ниже. — Под их бурами. Песок может стать мягким. Не для людей. Для машин».

Ринн встал.

Подошёл. Взял кирпич из его руки.

Тот не сопротивлялся.

Ринн смотрел на знаки. На бетон. Долго.

Потом — стёр. Ладонью. Все три строки. До белого пятна.

И написал своё. Одно слово. То, которое придумал сам, две недели назад. Которое сказал одинокому, отцу девочки-моста, на галерее у двери сестры.

«Я — как вы».

Поставил рядом знак, который выучил у Веры. Короткую горизонтальную черту, а потом вопросительный изгиб.

«Нет?»

\* \* \*

Он не знал, поняли ли они.

Они смотрели на знаки. Каждый — из-за своего стекла. Каждый — сам.

Потом — по одному — стали отходить. Кто к стене. Кто на галерею. Кто — в комнату.

Мальчик из Марсея — к чаше без огня.

Тот-кто-видел-огонь стоял дольше всех. Смотрел на Ринна.

Потом ушёл к своей двери. К камню в желобке. Отодвинул. Вошёл.

Задвинул изнутри.

Ринн остался один. У стёртого пятна на бетоне.

Он поднял голову.

У ворот, на земле, сидела Та-что-помнит-реки. Третий день. Не двигаясь. Глаза закрыты. Руки на коленях.

Держала.

Над ней, над ржавыми воротами одиноких, над пустой фабрикой с выбитыми окнами, — темнело небо. Летнее, светлое, без звёзд. Одинокие говорят — звёзды здесь не видно из-за фонарей. У них, на той стороне, в этом месте, звёзды видно всегда. Даже летом.

Ринн подошёл к воротам.

Сел рядом с ней. На бетон.

Не держал — он не умел, он никогда не умел, у него не было этого. Не открывался — стекло стояло, как стояло. Просто сел. Рядом.

Как сидели одинокие вокруг него у бассейна, три дня назад. Сто. Триста. Не трогая. Просто — рядом.

Он тогда спросил Веру: зачем?

Он и сейчас не знал, зачем.

Но сидел.

Та-что-помнит-реки не открыла глаз. Не повернула головы.

Только — Ринн не почувствовал этого, он только увидел — её рука на колене чуть-чуть сдвинулась. На ширину пальца. К нему.

И осталась так.

\* \* \*

Через неделю в доме у фабрики было уже не двести.

Шестьсот.

Они приходили из других домов. Из всей Москвы одиноких. Молодые, закрытые, по одному. Каждый — со своей историей. С юга, где горели дома. С Немо, где лава. С Арктиды, где газ. С обломков в Баттерси, в Екатеринбурге, в Хэбэе. Они приходили, потому что здесь можно было не чувствовать. И — потому что здесь были такие же.

Ринн смотрел на них и думал: это как у одиноких. Они тоже собираются — те, кто одинаково боится. Вера рассказывала. «Право на одиночество». А теперь — «Люди». Те, кто боится, что их растворят.

А здесь — те, кто боится, что их разорвёт.

Одно и то же. С двух сторон стекла.

В доме у фабрики появилось четыре камня в желобках.

Потом — девять.

Потом Ринн перестал считать.

Та-что-помнит-реки сидела у ворот. Каждый день. С рассвета до темноты. Не уходила. Не ела — Ринн видел, ей приносили хлеб, вода стояла рядом в чаше, — она не прикасалась.

Держала.

На восьмой день Ринн увидел, что её косы стали белее.

На девятый — что она дышит иначе. Реже. С паузами.

На десятый утром она не открыла глаз, когда солнце встало над фабрикой.

Ринн сидел рядом с ней. Как сидел все ночи.

Он не мог почувствовать, жива ли она. Только видеть.

Он видел: грудь поднимается. Медленно. Очень медленно.

Жива.

Он сидел и смотрел на её руку на колене. На ширину пальца ближе к нему, чем десять дней назад.

И думал о слове. Не своём — Верином. Которое она сказала ему когда-то, ещё через Аю, ещё до того, как они увидели друг друга. Когда он спросил: как вы живёте, одинокие, если никто не знает, что вам больно?

Вера тогда ответила одним словом. Ая перевела — как могла.

«Спрашиваем».

Он тогда не понял.

Теперь — сидя у ворот, за стеклом, рядом со старухой, которую не мог почувствовать, — понял.

Он наклонился к ней.

И спросил — вслух. Тихо. На своём языке, который у них почти никогда не звучал, потому что был не нужен, — гортанно, с придыханием, коряво, как говорят одинокие, когда говорят впервые:

— Тебе больно?

Та-что-помнит-реки открыла глаза.

Посмотрела на него.

И — это было невозможно, этого не делал никто из старших, никогда, потому что им не нужно было, — ответила. Вслух. Одним словом. Голосом, которого Ринн не слышал никогда в жизни, — сухим, ломким, старым, как шелест листа гинкго.

— Да.

Помолчала.

— Не за себя.

## Глава 7. Арктида

Антон Шубин стоял на вертолётной площадке научного судна «Академик Трёшников» и смотрел на восток, где сто сорок дней подряд горела земля.

Отсюда, с запада, с расстояния в двести километров, огня не было видно. Был — столб. Серо-белый, широкий у основания, расползающийся наверху в плоскую шапку, как наковальня грозового облака. Он стоял над горизонтом всегда. Днём — серый. Вечером, когда низкое августовское солнце обходило горизонт и подсвечивало его сбоку, — розовый, оранжевый, медный. Ночью, которой ещё не было, — полярный день кончится только через месяц, — Шубин знал, он будет светиться снизу. Багровым.

Сто сорок дней.

С двадцатого марта. С восхода — первого после полярной ночи. Тогда Шубин стоял на мостике «Арктики» рядом с Кречетовым и смотрел, как вдоль гребня, на двенадцать километров, встаёт стена огня. Фонтаны лавы — один, другой, десятый — на сотни метров вверх. Тогда он думал: это ненадолго. Неделя. Месяц. Трещинные извержения так и идут: сначала — бешено, потом — тише, потом — кончаются.

Лаки, в Исландии, в тысяча семьсот восемьдесят третьем, — восемь месяцев.

Арктида — шёл пятый.

И не тише.

\* \* \*

— Опять смотришь, — сказал Гуров.

Капитан «Трёшникова» — Сергей Гуров, сорок семь лет, мурманчанин, широкий, неторопливый, с бородой лопатой — подошёл сзади с двумя кружками. Протянул одну Шубину. Чай. Крепкий, сладкий, с лимоном. На «Трёшникове» всегда был чай с лимоном — кок привозил лимоны из Мурманска ящиками, это была его гордость.

— Смотрю, — сказал Шубин.

— Что видишь?

Шубин подумал.

— Наковальня выше, — сказал он. — Чем неделю назад. Километра на два. Значит — выброс сильнее. Газа больше.

— Это плохо?

— Это — больше серы. — Шубин отхлебнул чай. — В стратосферу.

Гуров кивнул. Он не спрашивал, что это значит. Он знал. Все на «Трёшникове» знали — Шубин рассказывал. На второй день похода, в кают-компании, после ужина. Его попросили — экипаж, сорок человек. Он рассказал. Про Лаки. Про то, что было потом.

Он рассказывал так, как сам узнал, — четыре месяца назад, ночами, на «Арктике», в полынье, когда искал в интернете всё, что только мог найти про трещинные извержения. Он был гляциологом. Лёд. Керны. Изотопы кислорода. Вулканы для него были — слоями пепла в ледяных кернах. Тонкими серыми полосками в метрах прозрачного льда. Датами.

Тысяча семьсот восемьдесят третий — одна из самых заметных полосок. В гренландских кернах — пик сульфатов. Кислота, выпавшая со снегом.

А за этой полоской — то, что он прочитал потом.

Лаки извергал восемь месяцев. Четырнадцать кубических километров лавы. Сто двадцать миллионов тонн сернистого газа. Газ поднялся в стратосферу и разошёлся по всему северному полушарию. Летом восемьдесят третьего над Европой стояла мгла — «сухой туман», так её называли. Солнце в полдень было красным, как на закате. Люди задыхались. В Англии в то лето умерло на двадцать тысяч больше, чем обычно. Во Франции — тоже десятки

тысяч. В Исландии погибла четверть населения — не от лавы. От голода. Фтор выпал на пастбища, скот отравился, зима была страшной.

Потом — зима в Европе. Одна из самых холодных за столетия. Миссисипи замёрзла у Нового Орлеана. Через несколько лет во Франции — неурожай. Хлебные бунты. Кто-то из историков связывал это с революцией. Шубин не знал, правда ли. Но так писали.

Четырнадцать кубических километров.

Шубин считал Арктиду каждую неделю. По площади лавовых полей на спутниковых снимках, по толщине на краях — её он мерил сам, с вертолёт, лазерным дальномером. Последняя оценка — тридцать восемь.

Втрое больше Лаки.

И — не тише.

\* \* \*

«Трёшников» шёл в сопровождении.

Впереди — в восьми милях — платформа. Самоподъёмная буровая установка «Арктическая-2», белая, с красными опорами, на буксире у двух ледоколов. Позади — в двенадцати милях, своим ходом, — вторая. Не наша. Консорциум. Норвежская компания, американская компания, ещё кто-то, кого Шубин не помнил. Платформа называлась красиво — «Боревинд». Северный ветер. Шла под норвежским флагом. На борту — Шубин видел список экипажа, его передали по каналу научного сопровождения — сто четыре человека. Норвежцы. Американцы. Шотландцы. Двое филиппинцев. Один поляк.

Обе шли к западному берегу Арктиды.

Туда, где — по решению, принятому в начале июля, неизвестно кем и неизвестно где, Шубин узнал о нём из сообщения начальника экспедиции, — «условия для продолжения работ признаны приемлемыми». Двести километров от трещины. Наветренная сторона: ветер здесь дул чаще всего с запада, газ уносило на восток. Мелководье: шельф Арктиды на западе был пологим, платформы могли встать на грунт.

И — главное — не было домов.

Белый город Арктиды, тот, что Кречетов видел в сентябре прошлого года, — в долине гейзеров, — стоял на востоке. В шестидесяти километрах от трещины. Наполовину пустой — тысяча сто пятьдесят семь человек «Арктика» вывезла в Мурманск. Остальные — ушли куда-то. Глубже, на восток, к другим городам, которых на спутниковых снимках было ещё три. На западе городов не было. Только лес. Хвойный, тёмный, древний — Ксения Ли, когда увидела фотографии, сказала, что это, наверное, что-то вроде араукарий, только северных, каких на Земле не росло никогда.

Лес — не дома. Лес можно.

Так решили.

\* \* \*

Шубин высадился на берег двенадцатого августа.

На вертолёт. С двумя сейсмологами из Петропавловска, с геофизиком из Новосибирска, с ящиком датчиков. Задача — поставить сеть сейсмографов вокруг точки бурения. Двенадцать станций в радиусе двадцати километров. Профессиональных — не коробочек. Чтобы слышать, что будет под платформами, когда начнут бурить.

Это была его идея. Он настоял. Написал начальнику экспедиции, начальнику института, кому-то в министерстве. Три недели писал. Ему отвечали: «Нецелесообразно». Потом — «Рассматривается». Потом — неожиданно, без объяснений, — «Согласовано».

Он подозревал — не он один писал.

Вертолёт сел на поляне у ручья. Трава — по пояс, мягкая, сизо-зелёная, незнакомая. Над поляной — лес. Те самые деревья. Высокие, прямые, с ветвями, растущими ярусами, как

этажи. С тёмной хвоей, похожей на чешую. Под деревьями — полумрак, тишина, запах смолы и чего-то ещё — сладковатого, тёплого, как от нагретого солнцем камня.

Тепло.

Шубин снял куртку через десять минут. Через полчаса — свитер. Было двадцать три градуса. На восемьдесят пятой широте. В середине августа.

Геотермальная земля. Арктида вся была такая — тёплая снизу. Как будто под ней, на небольшой глубине, лежала печка.

Он знал, что это за печка.

— Антон Сергеевич, — позвал сейсмолог. Молодой, Рахимов, с Камчатки. — Тут кто-то есть.

Шубин обернулся.

На краю поляны, у первых деревьев, сидели.

Пятеро.

Их. Высокие, тёмноволосые, в светлом. Трое — старые, двое — помоложе. Сидели на земле, в траве, кругом. Неподвижно. Глаза закрыты. Руки на коленях.

Шубин видел такое. На палубе «Арктики». Два месяца. Тысяча сто пятьдесят семь человек, сидящих кругами, — держа друг друга за руки, держа что-то ещё, что он не видел и не понимал.

Он видел и другое. Двадцать первого июня. Он был в Мурманске тогда, у дома на Семёновском озере, вместе с Кречетовым. Он видел их лица.

— Не трогайте их, — сказал он.

— Да я и не... — Рахимов попятился. — Антон Сергеевич, они что — живые?

— Живые.

— А что они делают?

Шубин смотрел на них.

— Держат, — сказал он.

\* \* \*

Они поставили станции за три дня.

Двенадцать. По кругу. Каждую — в яму, на бетонную подушку, с солнечной панелью, с аккумулятором, с антенной спутниковой связи. Каждую — в лесу или на поляне, в тишине, в тепле, под запах смолы.

У каждой станции — Шубин потом сверял по карте — сидели. Где — трое. Где — пятеро. Где — один. Их. Старые и молодые. Кругом. Неподвижно.

На второй день один из молодых открыл глаза, когда Шубин проходил мимо. Посмотрел на него. Долго.

Шубин остановился.

Парень был совсем молодой — лет двадцати, может, меньше. С короткими волосами, неровно стриженными. С впалыми щеками. С глазами — Шубин не знал, как это назвать. Не такими, как у других. У других было — «ты уже рассказал всё, что хотел». У этого было — что-то знакомое. Что-то, что Шубин видел каждый день. В зеркале.

Парень смотрел на него. Потом — на ящик с сейсмографом в руках Рахимова. Потом — на запад. Туда, где за лесом, на горизонте, уже виднелись красные опоры «Арктической-2». Она пришла утром. Её ставили на грунт.

Парень смотрел туда.

Потом — снова на Шубина.

И Шубин почувствовал — непонятно как, без слов, без ткани, которой у него не было, — холод. Острый. Короткий. Как будто кто-то провёл по спине кончиком ножа.

Парень закрыл глаза.

Шубин стоял ещё минуту. Потом пошёл дальше.

Вечером, на «Трёшникове», он записал в журнал наблюдений:

«12.08, станция В-7. У станции — группа из 4 (3 держат, 1 нет). Тот, что не держит, — молодой, коротко стрижен, глаза открыты. Смотрел в сторону платформы. Похож на описанных Ланским „закрывшихся“».

Подумал. Дописал ниже:

«Мне показалось, что он нас ненавидит».

Подумал ещё.

Зачеркнул «ненавидит».

Написал: «боится».

Посмотрел.

Оставил оба слова. Одно — зачёркнутое, другое — нет.

\* \* \*

«Арктическая-2» начала бурить двадцатого августа.

«Боревинд» — двадцать второго. В шести километрах к северу. На том же мелководье.

Шубин слушал.

Каждую ночь — то есть каждый вечер, ночи всё ещё не было, — он сидел в лаборатории «Трёшникова» и смотрел на двенадцать строк. Двенадцать станций. Двенадцать кардиограмм.

Он видел гул. Тот самый. Три часа сорок одна минута. Три линии, расщеплённые с февраля. Он видел тремор — от трещины, с востока, ровный, непрерывный, как дыхание огромного зверя. Он видел зубцы буров — по два на каждую платформу, ротор и насос. Он видел, как зубцы входят в гул — и гул вздрагивает. Каждый раз. Чуть-чуть.

И он видел — это было новое, этого не было ни на Немо, ни на Кольской, ни на Лемурии, — как под станциями, где сидели те, кто держит, гул вздрагивал меньше.

Он не сразу поверил.

Посчитал. Сравнил станции. Те, у которых сидело много, — и те, у которых сидело мало. Те, у которых сидели старые, — и те, у которых молодые.

Разница была. Небольшая. Процентов десять-пятнадцать. На грани шума.

Но — была.

Он написал Илье Ланскому. Тот ответил через два часа — коротко: «Вы видите то, что Остроумова считает. Связь. Локально. Пришлите данные. Пётр Андреевич посмотрит».

Шубин прислал.

Через три дня пришло письмо. Длинное. От Остроумовой. С графиками. Шубин читал его всю ночь. Модель Курамото. Критическая связь. Порог. Гистерезис. Март.

В конце — приписка. От руки, сфотографированная на телефон:

«Антон, у вас — единственное место на Земле, где можно увидеть, как они держат. В цифрах. Пожалуйста, не уезжайте оттуда. Г. П.»

\* \* \*

Двадцать девятого августа «Боревинд» прошёл тысячу метров.

Тридцатого — тысячу двести.

Тридцать первого Шубин вылетел на берег — проверить станцию В-7, которая перестала передавать данные. Аккумулятор, наверное. Или антенна.

Станция стояла на месте. Целая. Аккумулятор — заряжен. Антенна — цела.

Не передавала, потому что была выключена.

Кто-то открыл крышку ящика — Шубин видел следы пальцев на пыльном пластике — и нажал кнопку питания. Одну. Красную. С надписью «ВЫКЛ».

Выключил.

Закрыв крышку.

Шубин стоял над ящиком.

У станции никто не сидел. Трава на поляне была примята — там, где сидели раньше. Четыре пятна. Три — круглые, ровные, как от людей, сидевших неподвижно дни напролёт. Одно — сбоку, неровное.

Те, кто держал, — ушли. Куда — Шубин не знал.

Он включил станцию. Подождал, пока загорится зелёный. Закрыв крышку.

Обернулся.

На краю поляны, у деревьев, стоял парень. Тот самый. Коротко стриженный. С впалыми щеками.

Смотрел на Шубина.

Шубин не шевелился.

Они стояли так долго. Через поляну. Метров тридцать между ними. Над лесом — гул вертолёта, который ждал на соседней поляне. С запада — тяжёлый, низкий стук ротора «Боревинда», шесть километров, его было слышно в тишине леса.

Парень посмотрел на запад. Туда, откуда шёл стук.

Потом — на станцию.

Потом — на Шубина.

И медленно, очень медленно — поднял руку. Ладонью вперёд.

Шубин видел этот жест на видео. Так они здороваются. Кладут ладонь. Чтобы почувствовать.

Только этот — не шёл к нему. Не протягивал руку для того, чтобы положить. Он поднял её — и держал. На месте. Ладонью к Шубину.

Как будто — стена.

Как будто — «стой».

Шубин поднял свою руку. Тоже ладонью вперёд.

Они стояли так. Через поляну. Две руки — одна против другой.

Потом парень опустил руку. Повернулся. Ушёл в лес.

\* \* \*

Вечером Шубин позвонил Кречетову.

Спутниковый телефон. Связь — с задержкой, с треском. Кречетов взял на четвёртом гудке.

— Антоша.

— Евгений Михайлович.

— Как там?

Шубин рассказал. Всё. Про станции. Про тех, кто держит. Про цифры — десять-пятнадцать процентов, на грани шума. Про письмо Остроумовой. Про март.

Про парня на поляне.

Кречетов слушал молча. Шубин слышал в трубке — далеко, фоном — шум ветра. Кречетов, наверное, стоял на улице. Шубин знал где. У ворот белого дома на Семёновском озере. Где он стоял каждый вечер с двадцать пятого мая. И где двадцать первого июня женщина в первом ряду положила руку себе на грудь.

— Он выключил станцию, — сказал Кречетов, когда Шубин закончил.

— Выключил.

— Зачем?

Шубин подумал.

— Не знаю. Может, хотел, чтобы мы не слышали. Что там под платформой. — Пауза. — Может, наоборот — хотел, чтобы мы приехали и увидели. Его.

— А ты?

— А я включил.

Кречетов помолчал. Ветер в трубке.

— Антоша, — сказал он. — Меня звали. В июле. Лоцманом на «Арктическую». Я отказался.

— Я знаю.

— Знаешь, почему?

— Нет.

— Потому что я в марте видел, что бывает, когда платформу ставят на их землю. — Кречетов помолчал. — Я тогда думал — я привёл. Я — лоцман. Без меня бы не дошли. Или дошли бы позже. Я думал — моя вина. Двести двенадцать мужиков на платформе — и всё, что потом. Огонь. — Пауза. — Потом понял: без меня бы — привёл другой. Это — не оправдание. Это просто правда. Но я больше — не буду. Пусть другой. Не я.

Шубин молчал.

— А этот парень, — сказал Кречетов. — Который ладонь поднял. — Пауза. — Знаешь, что я думаю?

— Что?

— Я думаю, он тоже теперь — как я в марте. Думает — если не он, то другой. — Ветер. — Только он ещё не решил, что будет делать. А я — решил.

\* \* \*

Первого сентября Шубин записал в журнал:

«Тремор на трещине — плюс 8 % за неделю. Высота шапки столба — 21 км (оценка по тени на спутниковом снимке). Это — стратосфера. Сера уходит туда, откуда не выпадает годами.

По данным Остроумовой (связь), с начала бурения на западе — падение ускорилось. Не намного. На грани шума. Но — ускорилось.

У станций В-3, В-5, В-9 — держат. По 5–8 человек. Старые.

У станции В-7 — никого. Станция работает.

Парня больше не видел».

Подумал. Дописал:

«Сибирские траппы — 252 млн лет назад. Начинались, вероятно, тоже с трещины. Потом — сотни трещин. Миллион лет излияний. Два-четыре миллиона кубических километров базальта. Магма прорвалась сквозь угольные пласты и соли, выжгла их, выбросила в атмосферу столько углекислоты и серы, сколько не выбрасывал никто ни до, ни после. Вымерло 90 % морских видов. 70 % наземных.

Почти всё живое.

Я не знаю, траппы ли это.

Но под Арктидой — та же печка. И шов, о котором пишет Ланской, идёт прямо через неё. Если он начнёт расходиться — печку откроет не трещина. Печку откроет всё».

Он закрыл журнал.

Вышел на палубу.

Солнце — впервые за лето — коснулось горизонта. Чуть-чуть. Краем. Полярный день кончался. Через три недели — равноденствие. Потом — ночь.

На востоке, над горизонтом, стоял столб.

Он светился снизу. Багровым.

## Глава 8. Немо

Шлюпок было четыре.

Доусон потом помнил это число лучше, чем все остальные. Лучше, чем тысячу девятьсот. Лучше, чем сорок одну минуту. Лучше, чем двадцать миль. Четыре шлюпки. Две — спасательные, оранжевые, на двадцать пять человек каждая. Одна — рабочий катер с кормовой площадкой. Одна — надувная, «Зодиак», на восемь.

Шестьдесят шесть мест.

Тысяча девятьсот человек на склонах.

Он посчитал это в семь сорок четыре утра двадцать первого июня, стоя на палубе судна обеспечения «Глория Ди», в двадцати милях от восточного берега Немо, с биноклем в руке. Посчитал — и всё равно сказал: «Шлюпки на воду».

Потому что больше было нечего сказать.

\* \* \*

Первая шлюпка дошла до берега в девять двадцать.

Берега не было. Был — край. Чёрный, дымящийся, оплавленный — там, где лава шесть недель стекала в море и застывала, нарастая, наползая, пока не образовала уступ высотой в человеческий рост. Под уступом кипела вода. Пар шёл стеной.

Доусон стоял на носу шлюпки и смотрел на этот уступ — и думал, что не причалить. Никак. Шлюпка сгорит. Люди сварятся в пару.

Потом увидел — левее, в полукилометре, — бухту. Маленькую. Где лава не дошла до моря. Где был песок. Белый. Тот самый, тёплый, который он помнил с февраля.

На песке стояли люди.

Их. Человек сто. Они спустились со склонов — Доусон не знал как, по каким тропам, сквозь какой дым, — к этой бухте. И стояли. У самой воды. Ждали.

Они знали, что он придёт.

Он не знал, как они знали. Он сам не знал, что придёт, — до семи сорока одной.

Шлюпка ткнулась в песок.

Первой к ней подошла женщина. Высокая, худая, в сером от пепла платье. С ребёнком на руках — совсем маленьким, месяцев шести. Она посмотрела на Доусона.

Доусон протянул руки.

Она отдала ребёнка.

Он держал его — тёплого, лёгкого, пахнущего дымом и молоком, — и не мог пошевелиться. Не мог думать. Не мог дышать.

Ребёнок смотрел на него.

Огромными тёмными глазами.

Потом — протянул ручку. И положил ладошку ему на бороду.

Доусон стоял по колено в тёплой воде, с чужим ребёнком на руках, с маленькой ладонью на рыжей бороде, — и плакал. Первый раз с девятнадцати лет. С Фаллуджи. Где он в последний раз видел детей так близко — и где они смотрели на него совсем иначе.

\* \* \*

Они возили четыре дня.

Шестьдесят шесть мест. Двадцать миль. Час туда, час обратно, полчаса на погрузку. Круглые сутки — экипаж «Глории Ди» сменялся у шлюпок, никто не спал больше трёх часов. Повар готовил без остановки — рис, бобы, хлеб из запасов, — и сам носил на палубу, где они сидели. Кругами. Как на склонах.

На второй день судно было полно. Шестьсот человек на палубах, в коридорах, в кают-компании, в машинном отделении — где только можно было сесть. «Глория Ди» осела на полметра.

Доусон связался с другими судами. Их было вокруг Немо много — десятки. Американские, китайские, французские, британские. Буровые, военные, научные, снабженцы.

Ответили семь.

Первым — китайский снабженец «Хайян-14». Капитан — Доусон потом узнал его имя, Лин Цзяньго, — не стал ничего спрашивать. Подошёл к бухте, спустил свои шлюпки. Взял четыреста.

Потом — французский исследователь. Потом — два американских рыболовных траулера, которые оказались в этом районе неизвестно как. Потом — новозеландский патрульный корабль, который шёл с запада полным ходом с двадцать второго.

Потом — британский фрегат. Без приказа — Доусон узнал это потом. Командир фрегата, молодой командер, вышел на связь и сказал: «Мне не приказывали. Мне и не запрещали. Я подумал — не стоит ждать, пока запретят».

К вечеру двадцать четвёртого на склонах никого не осталось.

Тысяча девятьсот.

Доусон стоял на палубе «Глории Ди» и смотрел на пустые склоны. На чёрную лаву. На пар. На серые обломки белых стен выше по склону — там, где был город.

На склонах — никого.

Только там, где они сидели шесть недель, — пятна. Круглые. Как от костров. Земля, выжженная не огнём — теплом. Тысячей девятистами телами, которые сидели и держали.

Он не знал, что они держали.

Знал только — что огонь за шесть недель не поднялся выше этих пятен.

\* \* \*

Куда их везти — не знал никто.

Не было порта. Не было лагеря. Не было бумаги, на которой можно было написать: «Принять тысячу девятьсот». Они не были ни беженцами, ни гражданами, ни военнопленными. Двадцать первого июня их просто — увидели.

На западном берегу Немо были их города. Три. Большие. Доусон видел их на спутниковых снимках — белые, плавные, с садами, с дорогами, которых никто не строил. Туда.

Только — между восточным берегом и западным было две тысячи километров. Материк. Горы. Лес.

И — американская буровая. Новая. Роботизированная. Поставленная в апреле на западном побережье, в сорока километрах от ближайшего города. «Чтобы не повторить ошибок восточного берега».

Доусон повёз их морем. Вокруг. Через южный мыс. Шесть дней.

Шесть дней на палубах — тысяча девятьсот человек и сорок членов экипажа. И три судна сопровождения: «Хайян-14», новозеландец и британский фрегат. Конвой, которого не было ни в одном приказе.

Доусон не спал. Стоял на мостике. Смотрел на воду.

Ночью — на третью ночь — на мостик поднялась женщина. Та самая, с ребёнком. Ребёнок спал у неё на руках.

Она встала рядом с Доусоном. У окна. Смотрела на воду.

Он не знал, что сказать. Он вообще не знал, как с ними говорить. С двадцать первого — не знал. Кое-кто из экипажа уже научился — жестами, улыбками, ладонью. Повар — тот вообще, кажется, понимал их без слов. Доусон — нет.

Женщина постояла. Потом — повернулась к нему.

Положила руку ему на грудь. Туда, где сердце.

Поддержала.

Тепло.

Доусон стоял неподвижно.

Он чувствовал — не понимал, чувствовал, — что она не благодарит. Это было бы слишком просто. Она — смотрит. Внутрь. Как врач слушает стетоскопом. И то, что она видит, — она видит не в первый раз.

Сто двадцать оборотов в минуту. Его буровая. Его подпись под каждой сменой.

Она видела.

И — не убрала руку.

\* \* \*

В августе пришла телеграмма.

Не телеграмма — письмо по спутниковой почте, с логотипом компании, с подписью вице-президента по операциям, с тремя пунктами.

Первый: восточная площадка признаётся непригодной к эксплуатации. Персонал площадки переводится на западную площадку «Немо-Вест» либо увольняется по соглашению сторон с выплатой компенсации.

Второй: судно обеспечения «Глория Ди» возвращается в порт приписки — Окленд — для технического обслуживания. Использование судна в целях, не связанных с операционной деятельностью компании, с двадцать первого июня по настоящее время квалифицируется как нарушение контракта капитаном и начальником площадки. Компания оставляет за собой право...

Третий: начальник площадки Р. Доусон отзывается в Хьюстон для дачи объяснений.

Доусон прочитал письмо в кают-компании. Вслух. Экипажу. Сорок человек.

Потом положил распечатку на стол.

— Я не поеду, — сказал он.

Никто ничего не сказал.

— Вы — как хотите, — сказал Доусон. — Компенсация — хорошая. Я видел цифры. Те, кто хочет домой, — поезжайте. Это правильно. У вас семьи. — Он помолчал. — Я — останусь.

— Где, сэр? — спросил кто-то.

Доусон подумал.

— Здесь, — сказал он. — Где-нибудь здесь.

\* \* \*

Остались двадцать два человека.

«Глория Ди» ушла в Окленд с капитаном и шестнадцатью. Капитан пожал Доусону руку у трапа. Долго держал. Сказал: «Боб, если что — я тебя не видел». Доусон сказал: «Если что — ты меня не видел».

Двадцать два остались на берегу. В городе на западном берегу — том, куда привезли тысячу девятьсот. Их приняли. Никто не спрашивал зачем. Им дали комнаты — на третьем этаже, с видом на море. Им давали хлеб. Им давали всё, что давали всем.

Доусон не знал, что делать.

Первую неделю — просто жил. Спал. Ел. Ходил по городу. Смотрел.

Город был — как все их города. Белый, плавный, без углов. Сады. Вода. Чаши с огнём. Люди — их, тысячи, — которые жили. Пекли хлеб. Сидели у воды. Растили детей. Ходили в лес — за чем-то, Доусон не знал за чем. Возвращались.

Никто не работал. В его смысле.

Никто не спрашивал его, кто он.

На второй неделе он пошёл на американскую буровую.

\* \* \*

«Немо-Вест» стояла в сорока километрах к северу от города. На мысу. На краю леса. Доусон шёл туда пешком — два дня, по берегу, с рюкзаком. Мог бы на вертолёт — компания предлагала, когда звала его туда «на перевод». Не захотел.

Буровая была маленькой. Не как его — восточная, с вышкой в пятьдесят метров, со ста сорока людьми. Эта — роботизированная. Модульная вышка, автоматический ротор, телеметрия. Двенадцать человек персонала — только на обслуживание. Управление — с корабля в двадцати милях.

Начальником был Хэнк Морроу.

Доусон знал его двадцать лет. С Ирака. Потом — с Мексиканского залива, где они вместе работали на платформах. Хэнк был хорошим инженером. Честным. Пил в меру. Любил жену. Ходил в церковь по воскресеньям — Доусон не ходил, и Хэнк никогда не попрекал.

Хэнк встретил его у ворот площадки. Обнял. Долго хлопал по спине.

— Боб. Чёрт тебя дери. Боб. — Отстранился. Посмотрел. — Ты похудел.

— Ем их хлеб.

Хэнк перестал улыбаться.

— Я слышал, — сказал он. — Про тебя. Что ты... ну. Ушёл к ним.

— Не ушёл. Остался.

— Какая разница.

Доусон подумал.

— Большая, — сказал он.

\* \* \*

Они сидели в жилом модуле, в маленькой комнате с кондиционером. Пили кофе. Настоящий — из Хьюстона, Хэнку привозили.

Доусон рассказал. Не всё — главное. Про тысячу девятьсот. Про шесть недель на склонах. Про пятна на земле — там, где сидели. Про огонь, который не поднимался выше пятен.

Потом достал телефон. Показал письмо Остроумовой. Его прислала Ребекка Холт — всем, кого знала, кто был на Немо. С припиской: «Боб, посчитай по своим станциям, если они ещё работают».

Станции работали. Доусон посчитал. Вместе с геофизиком из своих двадцати двух — молодым, из Остина, умным. Один и тридцать семь. Весна.

Хэнк читал долго.

Потом положил телефон на стол. Экраном вниз.

— Боб, — сказал он. — Я инженер.

— Я знаю.

— Я не понимаю половины этого. Курамото. Гистерезис. — Он потёр лицо. — Я понимаю одно. Я понимаю, что если это правда — нас всех уже ничего не спасёт. Одна скважина — ничего не решает. Остановлю я — не остановят китайцы. Не остановят французы. Не остановят русские. — Он посмотрел на Доусона. — Ты понимаешь? Если я остановлю — меня уволят. Через неделю пришлют другого. Он запустит. Ничего не изменится. Только у меня — не будет работы. А у Мэри — ипотека. А у Джейка — колледж через два года.

— Я понимаю.

— А если это неправда — я буду дураком. Который остановил буровую из-за русских расчётов. — Хэнк помолчал. — Понимаешь?

— Понимаю, Хэнк.

Хэнк долго смотрел на него.

— Тогда что ты от меня хочешь?

Доусон подумал.

— Ничего, — сказал он. — Я пришёл тебе показать. — Он кивнул на телефон. — Это. И ещё одно.

— Что?

Доусон встал.

— Пойдём, — сказал он.

\* \* \*

Они вышли за периметр площадки. Через ворота. В лес.

Лес на западе Немо был другим, чем на востоке. Не хвойный — широколиственный. Огромные деревья с гладкой серой корой, с листьями размером с ладонь. Подлесок — папоротники. Не такие, как на Земле. Выше человека. Древовидные. Ксения Ли, говорят, сказала, что это — меловой период. Что таких лесов на Земле не было шестьдесят шесть миллионов лет.

В двух километрах от буровой, на поляне, сидели.

Сорок человек.

Их. Старые и молодые. Кругом. Неподвижно. Глаза закрыты. Руки на коленях.

Хэнк остановился на краю поляны.

— Что это? — спросил он тихо.

— Они держат, — сказал Доусон.

— Что?

— Твою буровую.

Хэнк смотрел на них.

— Я не понимаю.

— Я тоже не понимаю. — Доусон помолчал. — Я знаю, что на востоке они так сидели шесть недель. Над огнём. И огонь не поднимался выше. — Пауза. — Я знаю, что с апреля, с тех пор как ты здесь бурить начал, — они здесь. Каждый день. Не сорок. Больше. Иногда — двести. Сменяются. — Он посмотрел на Хэнка. — Ты их не видел. До двадцать первого. Они сидели здесь с апреля, и ты их не видел.

— Двадцать первого я был на корабле. — Голос у Хэнка был глухим. — Управление. Я видел... на мониторах. Камеры периметра. Я видел — людей. В лесу. Я подумал... — Он замолчал.

— Что ты подумал?

Хэнк долго не отвечал.

— Я подумал — диверсанты, — сказал он. — Я подумал — сейчас пойдут на площадку. Я поднял охрану по тревоге.

Он смотрел на поляну.

— А они сидели, — сказал он. — Просто сидели. Всё время. Охрана простояла у периметра до вечера. Никто не вышел из леса. Никто.

— Они не выйдут, — сказал Доусон. — Они не для этого здесь.

— А для чего?

Доусон не ответил.

Он смотрел на одного из сидящих. На старика — совсем старого, высохшего, с белой бородой до груди. Тот сидел ближе всех к краю поляны. Ближе всех к ним.

Старик открыл глаза.

Посмотрел на Хэнка.

Долго.

Потом — медленно — поднял руку. Протянул.

Не ладонью вперёд, как стену. Ладонью вверх. Как просят.

Хэнк стоял.

— Чего он хочет? — Шёпотом.

— Не знаю, — сказал Доусон. — Подойди. Дай руку.

Хэнк не двигался.

Потом — шагнул. Медленно. Ещё шаг. Опустился на колени перед стариком — тяжело, неловко, хрустнув суставами. Протянул руку.

Старик положил свою ладонь на его ладонь.

Хэнк замер.

Доусон смотрел на его лицо. Знал, что он чувствует. Тепло. Комнату. Свет. Порог.

И — Доусон знал это тоже, потому что сам почувствовал на «Глории Ди», когда женщина положила руку ему на грудь, — то, что идёт следом. За теплом.

Старик держал. Не корни — Хэнка. Смотрел внутрь. Как врач — стетоскопом.

И видел то, что видел.

Хэнк выдернул руку.

Встал. Отступил. Шаг, другой. Лицо — белое.

— Что... — сказал он. — Что это было?

— Он тебя посмотрел, — сказал Доусон.

— Он... — Хэнк сглотнул. — Он устал, Боб. Он так устал. Я почувствовал. Как будто... как будто держишь что-то тяжёлое — очень долго. Месяцами. И не можешь отпустить. Потому что если отпустишь... — Он замолчал.

— Что — если отпустишь?

Хэнк смотрел на старика. Тот снова закрыл глаза. Снова держал.

— Я не знаю, — сказал Хэнк. — Я не знаю, что тогда. Но он — знает. И ему страшно.

\* \* \*

Доусон ушёл с буровой на следующее утро.

Хэнк провожал его до ворот. Молчал всю дорогу. У ворот — остановился.

— Боб, — сказал он. — Я не остановлю.

— Я знаю.

— Я не могу. Ты понимаешь.

— Понимаю.

Хэнк смотрел в сторону леса.

— Но я... — Он запнулся. — Я поставлю твои станции. Сейсмографы. Вокруг площадки. И буду смотреть. Каждый день. Что там у них — с этим их... Курамото. — Пауза. — И если увижу то, что ты говоришь... — Он не договорил.

— Что тогда?

Хэнк молчал долго.

— Тогда я позвоню Мэри, — сказал он. — И спрошу её.

\* \* \*

Вечером, в городе на западном берегу, Доусон позвонил домой.

В Техас. В Корпус-Кристи. Спутниковый телефон — с задержкой, с треском.

Трубку взял сын. Джош. Десять лет.

— Пап!

— Привет, приятель.

— Пап, ты когда приедешь?

— Не знаю, Джош. Не скоро.

Пауза. Треск.

— Мама говорит, ты у них. У тех.

— У них.

— Пап. — Голос у сына стал тихим. Серьёзным. — Пап, а ты их видел? Близко?

Доусон стоял у окна. Третий этаж. Вид на море. Внизу, во дворе, у бассейна, — дети. Их. Человек тридцать. Брызгались. Смеялись.

Среди них — один, совсем маленький, месяцев восьми. На руках у матери. В сером, которое было когда-то белым.

Ребёнок увидел Доусона в окне.

Протянул ручку.

— Видел, — сказал Доусон в трубку. — Близко.

— Какие они?

Доусон долго молчал.

— Как ты, — сказал он наконец. — Только им страшнее.

— Почему?

— Потому что они знают, — сказал Доусон, — что мы с ними сделали. А мы — ещё нет.

## Глава 9. Пятеро

Анна Ферро переводила войны двадцать два года.

Не войны — переговоры о них. Перемирия. Обмены пленными. Коридоры. Разграничения. Она сидела в стеклянной кабине под потолком залов, в наушниках, с микрофоном у губ, и превращала английский во французский, французский в итальянский, итальянский в английский — со скоростью, на которой нельзя думать о смысле. Только о словах. Смысл — потом. Вечером. Дома. Если вообще.

Она начинала совсем девчонкой, стажёркой, на подхвате, — на переговорах, о которых потом писали в учебниках. Потом были другие. Десятки. В разных городах, на разных континентах. И Женева — много раз, Женева была её городом, она здесь родилась, у её матери была квартира на улице Каруж, в двух кварталах от озера.

Она знала, как звучат люди, которые договариваются о том, кого убивать дальше. У них особый голос. Ровный. Вежливый. Очень точный. Они никогда не говорят «убивать». Они говорят «операционные возможности», «присутствие», «обеспечение интересов». Она переводила эти слова двадцать два года — и давно перестала слышать, что за ними.

Седьмого августа, в девять утра, она вошла в кабину зала номер девятнадцать во Дворце Наций — и в первые же пять минут услышала.

\* \* \*

Зал был маленький. Для таких встреч — всегда маленький. Овальный стол на двадцать мест. Пять флажков — нет, флажков не было; на этой встрече не было ничего, что могло бы попасть на фотографию. Пять табличек с буквами. Не странами — буквами. А, Б, В, Г, Д. Анна не знала, кто какая буква. Ей не сказали. Ей сказали — пять делегаций, по три человека за столом, по пять — во втором ряду. Языки — английский, французский, китайский, русский. Переводчиков — восемь. Две смены. Все — с допуском. Все — подписали.

Анна переводила с английского на французский. Канал два.

Председательствовал — нейтрально — человек из секретариата. Швед. Седой, сухой, в очках. Он открыл заседание фразой, которую Анна слышала сто раз:

— Уважаемые коллеги, позвольте мне напомнить, что настоящая встреча носит неофициальный характер и не предполагает принятия обязывающих решений.

Анна перевела. На автомате.

Потом швед сказал:

— Первый пункт повестки — рассмотрение научного доклада, поступившего по каналам трёх из присутствующих делегаций. Доклад касается так называемой модели связи.

Анна перевела.

И тут услышала.

Не в словах — в паузе. В той паузе, которая повисла в зале после слова «связи». Пятнадцать человек за столом. Двадцать пять — во втором ряду. Восемь переводчиков в кабинах. Сорок восемь человек — и тишина.

Не вежливая. Другая.

Анна знала все тишины, какие бывают на переговорах. Тишина ожидания. Тишина обиды. Тишина — когда кто-то сказал лишнее. Тишина — когда все знают, что сейчас будет, и никто не хочет начинать.

Эта была — четвёртая.

\* \* \*

Начал делегат Б.

Немолодой, грузный, в сером костюме. Говорил по-английски, с акцентом, который Анна не могла определить. Ровно. Вежливо. Очень точно.

— Наша делегация ознакомилась с докладом. Мы благодарим авторов за проделанную работу. — Пауза. — Мы попросили наших экспертов провести независимую проверку.

— Каковы результаты? — спросил швед.

— Эксперты подтверждают, что математический аппарат корректен. — Пауза. — Эксперты также отмечают, что исходные данные получены из неофициальной сети любительских сейсмографов, качество которых не верифицировано. Эксперты отмечают, что модель предполагает ряд допущений, не имеющих экспериментального подтверждения. В частности — существование так называемого «шва» и интерпретацию наблюдаемых колебаний как механизма связи между... — Он запнулся. На полсекунды. Анна услышала. — ...между двумя пространственными конфигурациями.

Анна переводила.

— Таким образом, — продолжал делегат Б, — наша делегация рассматривает доклад как интересную, но неподтверждённую гипотезу.

Он замолчал.

Швед кивнул.

— Делегация Г?

Делегат Г — женщина. Средних лет. Короткие седые волосы. Говорила по-французски — Анна переключилась, переводила теперь на английский, на канал один.

— Наша делегация присоединяется к оценке коллег. — Пауза. — Мы также провели проверку. Три независимые группы. Результаты всех трёх групп совпадают с выводами доклада в пределах погрешности.

Тишина.

— Тем не менее, — продолжала женщина, — мы согласны, что модель основана на непроверенных допущениях. Мы считаем преждевременным делать на её основании выводы, которые могли бы иметь последствия для... — Пауза. — Для стратегических интересов.

Анна перевела.

И почувствовала, как у неё холодеют пальцы на кнопке микрофона.

«Результаты всех трёх групп совпадают». «Преждевременно делать выводы».

Она переводила это — и слышала, как одно предложение отменяет другое. Ровно. Вежливо. Очень точно.

\* \* \*

Делегации А, В и Д сказали то же самое.

Разными словами. На разных языках. С разными оговорками. Делегат В говорил по-китайски — Анна слушала его через английский канал, через коллегу, и слышала, как коллега на долю секунды запинаясь. Делегат Д говорил по-русски — через другого коллегу, и Анна слышала, как тот тоже запинаясь. В одном и том же месте.

Все пять проверили.

Все пять — подтвердили. Три группы, четыре, две. Один и тридцать девять, один и сорок, один и тридцать восемь. Весна.

Все пять — назвали это неподтверждённой гипотезой.

Анна сидела в кабине и смотрела через стекло на овальный стол. На пятнадцать человек. На их лица — спокойные, сосредоточенные, профессиональные. На их руки — кто-то вертел ручку, кто-то перебирал бумаги, кто-то сидел неподвижно, сцепив пальцы.

Она подумала: они все — знают.

И каждый знает, что знают остальные.

И никто — не говорит.

\* \* \*

В перерыве она вышла на террасу.

Дворец Наций стоял в парке, на холме над озером. С террасы было видно — озеро, синее, августовское, с белыми парусами. За озером — горы. Монблан — в дымке, далеко, едва различимый.

И — внизу, у самого берега, у Женевского пляжа, — белый дом.

Он появился в июне прошлого года. На месте старой парковки у пляжа. Шесть этажей. Плавные стены. Янтарный свет. Анна видела его каждый день — с террасы, с набережной, из окна трамвая. Её дочь, Лючия, четырнадцать лет, ходила туда с подругами — весь год. Анна не запрещала. Не могла запретить. Пыталась — один раз, в октябре, — и Лючия посмотрела на неё таким взглядом, что Анна больше не пыталась.

Двадцать первого июня Анна была в Риме. На переговорах. О другом. Она узнала по телефону. От Люции. Дочь позвонила в семнадцать сорок одну по Женеве и сказала только: «Мама. Они здесь. Я их вижу. Мама, их так много». И заплакала.

Анна слушала, как плачет дочь, — в коридоре римского отеля, в наушниках, — и не могла ничего сказать.

Сейчас она стояла на террасе и смотрела на белый дом у озера.

Рядом с ней остановился мужчина.

Из второго ряда. Анна его заметила ещё утром — немолодой, худой, в старомодном костюме, с усталым лицом. Он сидел за табличкой Д. Не за столом — во втором ряду, у стены. Всё утро молчал. Записывал что-то в блокнот. От руки.

Он тоже смотрел на дом у озера.

— Вы переводите с английского, — сказал он. По-английски. С русским акцентом.

— Да.

— Я слышал вас. На канале. Вы хорошо переводите. — Пауза. — Вы запнулись. Один раз. Когда делегат Г сказал «совпадают в пределах погрешности».

Анна посмотрела на него.

— Я не запинаясь, — сказала она.

— Я знаю. — Он помолчал. — Поэтому и заметил.

Они стояли рядом. Смотрели на озеро.

— У вас там кто-то есть? — спросил он. Кивнув на дом.

— Дочь ходит. С подругами. — Анна помолчала. — Ей четырнадцать.

— Слышит?

— Не знаю. — Анна подумала. — Иногда мне кажется — да. Она... изменилась. За этот год. Стала... — Она не нашла слова. — Мягче. И твёрже одновременно. Я не понимаю, как это.

Мужчина кивнул. Как будто понимал.

— Меня зовут Олег Николаевич, — сказал он. — Это всё, что я могу сказать. Остальное — нельзя.

— Анна.

— Анна. — Он помолчал. — Анна, вы знаете, о чём будет вторая часть?

— Нет. Мне дают повестку только на текущий пункт.

— Вторая часть — о буферных зонах. — Он смотрел на озеро. — О том, на каком расстоянии от их домов на новых материках можно бурить. Пятьдесят километров предлагают одни. Тридцать — другие. Двадцать — третьи.

— А первая часть?

— Первая часть уже кончилась. — Олег Николаевич повернулся к ней. — Вы слышали, чем.

Анна молчала.

— Анна, — сказал он. — Вы знаете, что такое дилемма заключённого?

— Знаю.

— Это то, что вы сейчас переводите. — Он помолчал. — Пять камер. Пять заключённых. Каждый знает: если все замолчат — все выйдут. Каждый знает: если он замолчит, а остальные заговорят — он сядет навсегда. И каждый думает: что бы ни сделали остальные, мне выгоднее говорить. — Пауза. — Вы знаете, что самое страшное в этой дилемме?

— Что?

— Что она — идеальна. В ней нет ошибки. Каждый рассуждает правильно. Абсолютно правильно. И все — садятся.

Он посмотрел на дом у озера.

— Единственный способ выйти, — сказал он, — это перестать быть в разных камерах.

\* \* \*

Вторая часть шла семь часов.

Анна переводила. Буферные зоны. Пятьдесят километров. Тридцать. Двадцать пять. Квоты на число буровых — по три на каждого участника на каждом материке. Нет — по две. Нет — пропорционально присутствию. Мониторинг. Взаимные инспекции. Совместный центр данных. «Контролируемая добыча». «Ответственное освоение». «Минимизация воздействия».

Она переводила — и слышала. Теперь, когда услышала один раз, — не могла перестать.

Они говорили о расстоянии до домов. До их домов. Двадцать пять километров от дома — можно. Двадцать четыре — нельзя.

Никто не говорил о людях в домах.

Никто не говорил о том, что в каждом доме — сотни. Тысячи. Дети. Что их — видно. С двадцать первого июня. Всем. Восемь миллиардов видели.

Никто не говорил о связи.

О связи — сказали утром. Один раз. Пять раз — одно и то же. «Неподтверждённая гипотеза». И закрыли.

В шесть вечера делегат А — Анна узнала его голос, он говорил по-английски с южным акцентом, медленно, растягивая гласные, — сказал:

— Я хотел бы, чтобы в протоколе было отражено следующее. — Пауза. — Наша делегация не исключает, что модель связи может оказаться верной. — Пауза. — Мы готовы рассмотреть вопрос о сокращении интенсивности бурения при условии, что все участники примут на себя аналогичные обязательства. Одновременно. С механизмом взаимной проверки.

Тишина.

Анна перевела. Её голос — в наушниках у пяти французских делегатов — звучал ровно.

— Делегация Б? — спросил швед.

— Наша делегация готова рассмотреть этот вопрос, — сказал делегат Б. — При условии, что механизм проверки будет надёжным. И при условии, что сокращение не затронет площадки, работы на которых начаты до первого июля.

— Делегация В?

— Готова рассмотреть. При условии, что сокращение будет пропорционально текущему объёму присутствия, а не абсолютному.

— Делегация Г?

— Готова. При условии, что площадки, переданные в концессию третьим лицам до первого июля, не подпадают под...

— Делегация Д?

Пауза.

Анна смотрела на стол Д. На трёх человек за ним. На Олега Николаевича — во втором ряду, у стены, с блокнотом.

Делегат Д — тот, что сидел за столом, крупный, с тяжёлым лицом, — посмотрел на остальных. Долго.

— Наша делегация, — сказал он по-русски, Анна слышала его через коллегу, — готова рассмотреть этот вопрос при условии...

Он перечислил условия.

Пять делегаций. Пять «готовы». Пять «при условии». Пять условий — каждое из которых, Анна понимала это уже без перевода, без слов, одним только слухом, отточенным за двадцать два года, — каждое из которых делало невозможным условие следующего.

Идеальная дилемма. Без ошибки.

В семь вечера швед закрыл заседание.

— Благодарю коллег, — сказал он. — Предлагаю продолжить обсуждение в рабочем порядке. Следующая встреча — по согласованию.

Он снял очки. Протёр. Надел.

Анна видела — через стекло кабины — его лицо. Сухое, седое, старое. На секунду — одну — оно стало другим. Как будто человек, который тридцать лет держал на лице маску, на секунду забыл, где она.

Потом — вспомнил.

\* \* \*

Анна вышла из Дворца в восемь.

Не поехала домой. Пошла пешком. Вниз, через парк. Через Ариану. Через улицу Мон-брийан. К озеру.

К белому дому у пляжа.

Ворота были открыты. Здесь, в Женеве, ворота открыли двадцать второго — кантональная полиция сняла оцепление, а новое никто не поставил. Пункт учёта — палатка у ворот — работал до шести. Сейчас был закрыт. У палатки сидел полицейский — один, молодой, на складном стуле, — и смотрел в телефон.

Во дворе былолюдно. Наши и их. Вперемешку. Как везде.

У бассейна сидела Люция.

Анна увидела её сразу. Длинные тёмные волосы, джинсовые шорты, футболка с выцветшим логотипом какой-то группы. Ноги — в воде. Рядом — девочка. Их. Того же возраста. Тёмноволосая, смуглая, в светлом. Они сидели плечом к плечу.

Люция обернулась. Увидела мать.

Не удивилась.

Анна подошла. Села рядом. На край бассейна. Сняла туфли — офисные, на каблучке, весь день жали. Опустила ноги в воду.

Тёплая.

Они сидели молча. Втроём. Мать, дочь и девочка с той стороны.

Потом Люция сказала — тихо, не поворачивая головы:

— Мам, у тебя был плохой день.

— Откуда ты знаешь?

Люция кивнула на девочку рядом.

— Она говорит. — Пауза. — Она говорит, ты весь день слушала, как люди говорят одно, а думают другое. И что тебе от этого больно.

Анна молчала.

— Она спрашивает, — сказала Люция, — зачем вы так делаете? Говорите одно — а думаете другое?

Анна смотрела на воду. На своё отражение. Женщина пятидесяти лет, в сером деловом костюме, с усталым лицом, с распущенными волосами — она сняла заколку ещё на террасе и так и не надела.

Двадцать два года.

— Потому что боимся, — сказала она. — Друг друга.

Лючия перевела. Не словами — Анна видела. Просто повернулась к девочке. И та — кивнула.

Потом девочка сказала что-то. Лючия слушала.

— Она говорит, — сказала Лючия, — у них так тоже было. Давно. Очень давно. Когда земля дрожала. Тоже боялись друг друга. — Пауза. — Она говорит, они перестали, когда поняли, что земля у них одна.

Анна долго молчала.

— Скажи ей, — сказала она наконец, — что сегодня я слушала людей, которые это знают. Все пятеро. Знают, что земля одна.

Лючия перевела.

Девочка посмотрела на Анну. Тем взглядом.

И сказала — через Лючию — одну фразу. Короткую. Анна потом записала её. В блокнот. Вечером. Дома. На улице Каруж, в квартире, где выросла.

«Знать — это не то же самое, что чувствовать».

\* \* \*

Протокол заседания седьмого августа был засекречен в тот же вечер.

Пять экземпляров. Пять делегаций. Гриф — высший, какой есть у каждой из пяти.

Шестой экземпляр — неофициальный — существовал в блокноте человека из второго ряда, за табличкой Д. Записанный от руки, мелким, аккуратным почерком. Дословно. С паузами. С местом, где делегат Г сказал «совпадают в пределах погрешности».

Олег Николаевич держал этот блокнот в нагрудном кармане пиджака три месяца.

Он не знал, что с ним делать.

Он знал только — что не выбросит.

## Глава 10. Мост

Вера упала в обморок девятнадцатого августа, в одиннадцать утра, посреди фразы.

Это было в доме у Семёновской — не у озера в Мурманске, а у метро «Семёновская», в Москве, где белый дом стоял на месте снесённого в двадцатых годах рынка. Там открыли пункт учёта на неделю позже, чем везде, и там не было своего переводчика. Котов попросил. Олег Николаевич попросил. Людмила Фёдоровна позвонила сама — и сказала: «Деточка, я понимаю, что вы устали. Но там — плохо. Там мальчика увели. Там кричат».

Вера поехала.

Она переводила три часа. Сорок человек. Табурет. Камера. Палец — один, не ладонь. Карточка. «Не установлено. Не установлено».

На сорок первом — женщине средних лет, с длинной косой, с ребёнком на руках, которая никак не могла понять, почему нельзя положить на стекло всю ладонь, — Вера начала говорить: «Пожалуйста, им так нужно, они не умеют по-друг...»

И замолчала.

Не потому что забыла слово. Потому что вдруг перестала понимать, на каком языке говорит. И с кем. И кто — говорит.

Она стояла посреди палатки и слышала два голоса внутри себя одновременно. Один — свой. Русский. «Пожалуйста. Им так нужно». Второй — не голос. Тепло. Женщины с косой. Её страх — не за себя, за ребёнка. Её непонимание. Её доверие — к Вере, именно к ней, потому что Вера — мост. Её вопрос: «Зачем им один палец? Зачем?»

И Вера не знала, чей это вопрос. Её — или женщины.

Потом стало темно.

\* \* \*

Очнулась она в машине скорой помощи.

Над ней — потолок, белый, с плафоном. Рядом — мама. Ольга. В белом халате поверх летнего платья. С тонометром в руках.

— Не вставай, — сказала мама.

— Я не встаю.

— Сто на шестьдесят. — Мама сняла манжету. — Пульс — сорок восемь. Сахар — три и один. Вера, когда ты ела?

Вера подумала.

— Не помню.

— Вчера?

— Не помню, мам.

Ольга смотрела на неё. Долго. Тем взглядом, который Вера знала с детства. Врачебным. Тем, что видит насквозь.

— Ты не спишь, — сказала мама. — Ты не ешь. Ты двадцать часов в сутки переводишь. Два месяца. — Пауза. — Вера, ты знаешь, что такое выгорание?

— Знаю.

— Это не выгорание. — Ольга убрала тонометр в сумку. — Это хуже. Я не знаю, что это.

\* \* \*

Её привезли в Лосиный остров.

Не в больницу — она отказалась. Сказала: «Мам, если ты меня положишь в больницу — я оттуда уйду. Ты знаешь. Я ушла в марте прошлого года через окно. Уйду и сейчас». Ольга знала. Не спорила.

В Лосином острове, в комнате на четвёртом этаже, — той, где Вера жила с весны прошлого года, — было тихо. Окно — на лес. Кровать — круглая, низкая, мягкая, как у них везде. Тёплые стены.

Ая сидела на кровати.

Ждала.

Вера легла. Ая — рядом. Положила ладонь ей на лоб.

Тепло.

Вера закрыла глаза.

— Она говорит, — сказала Вера в потолок, мама стояла у двери, — что я слишком широко открыта. — Пауза. — Что я — как дверь, которую сняли с петель. Через меня идёт всё. Всё, что они чувствуют. И всё, что чувствуем мы. В обе стороны. Без остановки.

— Что это значит?

— Это значит, — Вера открыла глаза, — что я — не могу закрыться. Как Ринн. Я не умею. — Пауза. — И не могу открыться до конца, как они. Тоже не умею. Я — посередине. И через середину — всё.

Ольга подошла. Села на край кровати.

— Сколько вас таких? — спросила она. — В Москве?

— Шестьдесят. — Вера помолчала. — Было двадцать в июне. Сейчас — шестьдесят. Ая говорит — у детей просыпается быстро. Через месяц будет сто. — Пауза. — Только мне восемнадцать. Остальные — младше. Самому старшему, кроме меня, — пятнадцать. Самому младшему — шесть.

— И кроме тебя — никто не может переводить на пунктах.

— Никто. По закону — детям нельзя.

Ольга долго молчала.

— Значит, — сказала она, — ты больше не будешь переводить на пунктах.

— Мам.

— Вера. — Голос Ольги стал жёстким. Тем, каким она говорила с родственниками пациентов, когда надо было сказать то, что никто не хотел слышать. — Вера, я врач. Двадцать пять лет. Я видела, как люди сгорают. На работе. На войне. В больницах — врачи, медсёстры. Я знаю, как это выглядит. — Она помолчала. — Ты сгораешь за два месяца так, как они сгорают за десять лет. Я не дам. Мне всё равно, что скажет Котов. Олег Николаевич. Министр. Кто угодно.

Вера смотрела в потолок.

— А если не я — то кто? — сказала она тихо.

Ольга не ответила.

Ая убрала ладонь со лба Веры. Посмотрела на Ольгу.

И сказала что-то.

Вера повернула голову. Слушала.

Потом — засмеялась. Тихо. Устало. Впервые за много дней.

— Что? — спросила Ольга.

— Она говорит, — сказала Вера, — что ты права. Она говорит — «твоя мама кричит внутри так громко, что мне тоже страшно». — Пауза. — Она говорит — «послушай маму. Мамы всегда правы, когда так кричат».

Ольга смотрела на девочку.

Ая смотрела на неё.

Потом Ольга — медленно, сама не зная зачем, — протянула руку. Ладонью вперёд.

Ая положила свою ладонь на её.

Ольга сидела так долго. С закрытыми глазами.

Когда открыла — они были мокрыми.

\* \* \*

Соня пришла вечером.

С пакетом из «Пятёрочки» — йогурты, бананы, шоколадка, бутылка колы. С синими пряжами — она красила их каждый месяц, с восьмого класса, и за год их стало больше: теперь синей была почти половина головы. В мятой футболке с котом. С телефоном в руке.

Села на пол у кровати. Прислонилась спиной к стене.

— Ну ты даёшь, — сказала она.

— Даю.

— Мне Наталья Сергеевна сказала. Мама. Что тебя увезли на скорой. — Соня выложила из пакета бананы. — Я думала — всё. Капец.

— Не капец.

— Вижу. — Соня очистила банан. Протянула Вере. — Ешь. Это приказ.

Вера взяла. Откусила.

Ая сидела на кровати у неё в ногах. Смотрела на Соню. Соня смотрела на Аю.

Между ними — Вера чувствовала — было что-то. Не враждебное. Неловкое. Как между двумя людьми, которые любят одного человека и не знают, как с этим быть.

— Привет, — сказала Соня Ае.

Ая кивнула.

Соня отвернулась. Посмотрела в окно. На лес.

— Вер, — сказала она. Не поворачиваясь. — Можно я спрошу?

— Спрашивай.

— Ты меня ещё помнишь?

Вера перестала жевать.

— Что?

— Ну. — Соня пожала плечами. Всё ещё глядя в окно. — Меня. Соню. Мы с тобой с пятого класса. Сидели за одной партой. Ты у меня алгебру списывала. Я у тебя — физику. Мы вместе красили мне волосы в первый раз — у тебя в ванной, твоя мама потом орала, потому что ванна стала синей. — Пауза. — Мы вместе ушли сюда. В марте прошлого года. Через окно. Ты помнишь?

— Сонь...

— Ты меня помнишь, — сказала Соня, — или ты меня теперь — чувствуешь? Как они?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.